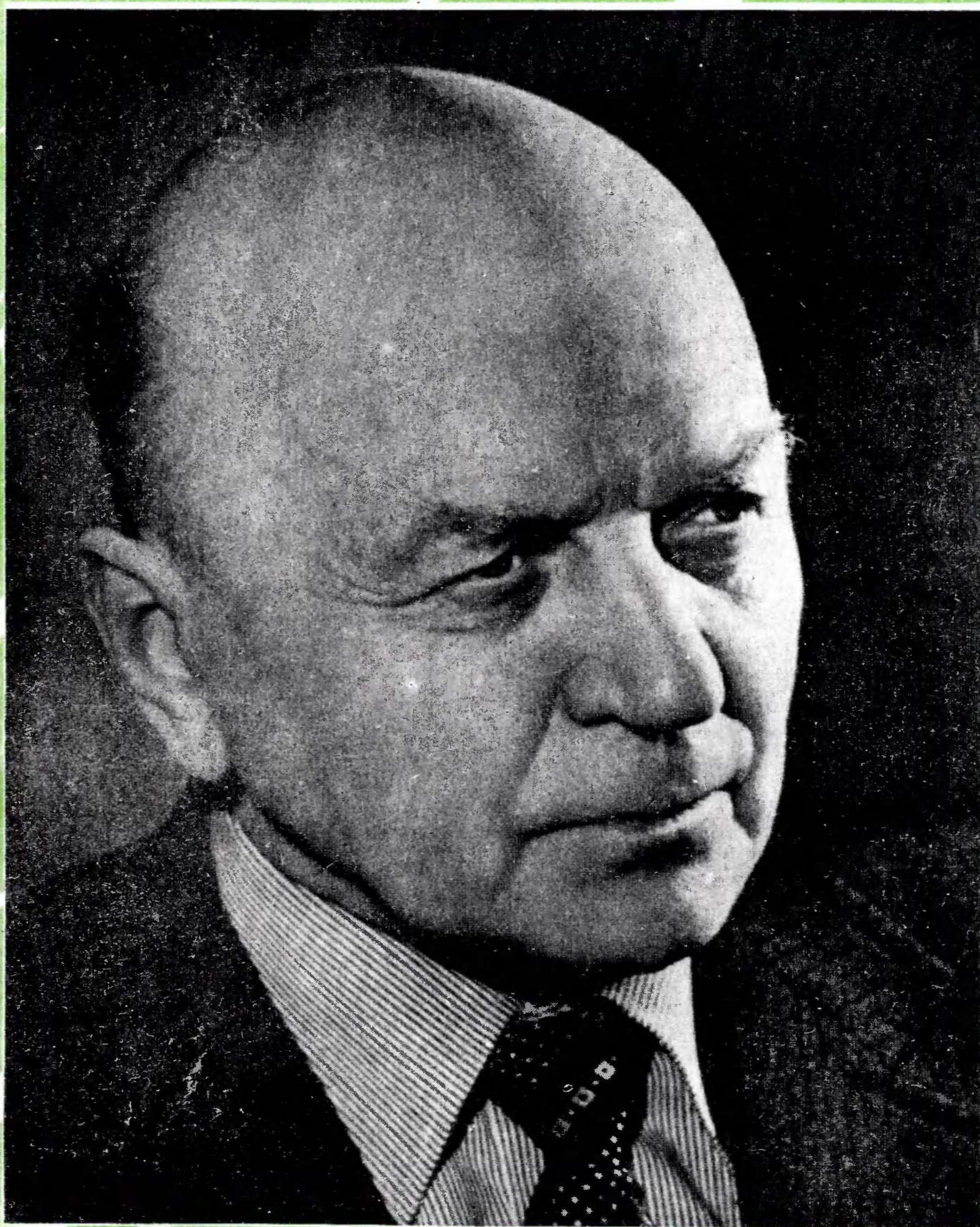


№ 6 (940) · 1982

РОМАН
ГАЗЕТА

ISSN 0131-6044



ЮОЗАС БАЛТУШИС
СКАЗАНИЕ О ЮОЗАСЕ

ЮОЗАС БАЛТУШИС

Народный писатель Литвы Юозас Балтушис (Альбертас Юозенас) родился в 1909 году в Риге в семье рабочего. В годы первой мировой войны жил в Нижнем Новгороде и Царицыне, а в 1918 году переехал в Литву. Семья нуждалась, и будущий писатель был отдан в подпаски, затем — в работники к богатым хозяевам.

В 1929 году живет в Каунасе и работает в типографии переплетчиком, занимается самообразованием. В 1932 году в прогрессивном альманахе «Труд» был напечатан первый рассказ Юозаса Балтушиса «Сахарная свекла», а в 1940 году вышел сборник рассказов «Неделя начинается хорошо».

После восстановления советской власти в Литве писатель работает в радиокомитете, в редакциях газет; в годы Великой Отечественной войны — редактором радиопередач на литовском языке в Москве. В 1943 году выходит второй сборник его рассказов. В том же году Юозас Балтушис вступил в члены КПСС.

После освобождения Литвы от фашистских захватчиков Юозас Балтушис работал председателем Радиокомитета Литовской ССР, а в 1946—1954 годах — главным редактором журнала «Пяргале». В эти же годы он выступает и как драматург. Его перу принадлежат драмы «Ранним утром» и «Поют петухи», которая не раз ставилась на сценах Литвы, братских республик, а также Польши и Чехословакии. Вместе с Е. Габриловичем Юозас Балтушис написал сценарий кинофильма «Над Неманом утро» (1952).

Самое крупное произведение Юозаса Балтушиса, ставшее значительным достижением литовской советской литературы, — роман в новеллах «Проданные годы» (1957—1969), отмеченный Республиканской премией Литовской ССР и переведенный на многие языки народов СССР.

В 1958—1962 годах писатель работал председателем оргбюро Союза работников кинематографии, в 1959—1967 годах — заместителем председателя Президиума Верховного Совета Литовской ССР. Ныне он — председатель Комитета защиты Мира Литовской ССР, депутат Верховного Совета Литовской ССР.

Юозас Балтушис много ездит по республике, встречается со своими читателями. Результатом этих поездок стала книга очерков «О чем в песне поется» (1959), рассказывающая о переменах, происшедших в Литве за годы советской власти. Известна и другая книга очерков писателя — «Дорогами отцов и братьев» (1967).

В последние годы Юозас Балтушис работал над автобиографической повестью «Пуд соли» (первые два тома изданы в 1973 и 1975 гг.).

Юозас Балтушис перевел на литовский язык некоторые произведения В. Белова, Дж. Икрами, А. Тамсааре и других писателей братских республик.

По мотивам отдельных новелл из романа «Проданные годы» на литовской киностудии поставлены кинофильмы «Нам уже не нужно» (1959) и «Венок из дубовых листьев» (1976).

Роман «Сказание о Юозасе» удостоен Республиканской премии Литовской ССР.

ИЗДАНИЕ ГОСКОМИЗДАТА СССР
МОСКВА

ЮОЗАС БАЛТУШИС СКАЗАНИЕ О ЮОЗАСЕ

Роман

Перевод с литовского ВИРГИЛИЮСА ЧЕПАЙТИСА

Вот увижу и узнаю,
Кто идет издалика...

Из песен Купишкского края

1

Как лег Юзас вечером, уйдя со свадьбы Винцюне, так и проглядел всю ночь на стропидины крыши сеновала. Лежал, зарывшись в сено, погружившись в пряные шорохи чабреца да тимофеевки. Он слушал, как под коньком крыши галдят воробьи — все громче и громче. Потом заверещали все разом и, будто договорившись, вылетели с сеновала. Юзас остался один. На дворе прогорланили петухи, уже третьи. Стало сереть. Наступал новый день.

Встал Юзас, так и не сомкнув за эту ночь глаз. Потопал к избе, куда уже должен был вернуться со свадьбы брат Адомас. Может, и сестра Уршуле, хотя та позднее их всех домой является, а явится и торчит все в амбаре да в амбаре, где стоит ее девичья кровать и сундук с приданым. Юзас шел по двору и не видел, какой холодной и густой росой исходят яблони в саду, как потяжелели от нее кочаны капуста, потемнели заборы. И не слышал, как скрипят колодезные журавли в соседних дворах, мычат коровы, дожидаясь заспавшихся после воскресенья хозяек. Даже земли под ногами не чувствовал. Прохладной доброй земли, по которой так славно было ступать каждое утро. Нет, ничего Юзас не видел,

не слышал, не чувствовал. Толкнул ногой сенную дверь, вошел в избу.

Брат Адомас вернулся-таки. Распластавшись на кровати, спал сладким утренним сном. Даже слюну пустил от удовольствия — по подбородку да длинной кривой полосой по белой льняной наволочке подушки. Праздничный пиджак из полосатой дмотканины, штаны, жилет брошены куда попало, золотые часики валяются под лавкой... Покупной верхней рубашки и то не снял! Незадутая лампа мигала под потолком, вытягивая последние капли керосина.

Юзас стоял посреди избы и глядел на брата. Давно ли он сшил себе эту тройку из полосатой дмотканины, пригласив домой лучшего портного в округе? И рубашку не первый ли раз надел, заплатив за нее бешеные деньги? А часики-то?.. У кого еще в деревне такие часики? Ни таких, ни других. Адомас первым во всей деревне завел. Словно у них денег куры не клюют! Поначалу жалел, носил только по праздникам или надевал к обеду, а вернувшись, тут же снимал и пристраивал в горнице на угловую полочку под изображением божьей матери. Не в праздник только один-единственный раз, когда они все трое — Адомас, Юзас и Уршуле — отправились фотографироваться в городок. Новый фотограф, неведомо откуда объявившийся в Мальдинишке, увесил дверь своего заведения портретами девушек, щеки

которых были так нарумянены, что Уршуле со слезами пристала к братьям: пошли да пошли сниматься! Мол, все идут, почему мы не как все? А когда уселись они втроем перед глазком аппарата, Адомас тут же дернул вверх рукав пиджака, чтобы часики хорошо вышли на фотографии, чтобы все потом видели: ни у кого в деревне нету часов, а у Адомаса есть. Вот как оно было. А сейчас? Под лавкой часики. На полу лежат!

Юзас ткнул брата кулаком в бок:

— Хватит дрыхнуть!

— Что стряслось? — спросил Адомас.

— Давай делиться!

— Так вот взять и делиться?! — развел руками Адомас. — Ни слова не сказав, не посоветовавшись... Что стряслось-то?

— Надо.

— Ну, а все-таки? — спросил Адомас. — Как снег на голову...

Братья сидели на лавке. Оба рослые, плечистые. Кряжистые, будто дубы, выросшие на сильном ветру. Только вот нос у Адомаса покороче. Да и эти его усы... Не усы, а клочок темной шерсти, разделенный канавкой под носом. «Сами растут такие, — оправдывался, когда потешались над его усами. — Куда денешься, коли такие растут?» Теперь он потягивал дым и глядел искоса на Юзаса — ждал, чего тот еще скажет, и никак не мог взять в толк, что на того нашло.

— Много не попрошу, — сказал Юзас. — Отдашь тот кусок, что на Кайрабале, а остальная земля, да и все, чего на земле, тебе с Уршуле.

— Погоди... На Кайрабале?.. — выпучил глаза Адомас.

— Может, много запросил? Так ведь и мне где-то надо стать на ноги.

— А что будешь делать на этом болоте? Чертенят плодить?

— Пригорок есть. Изба да огород уместятся.

— Ты... не смеешься?

— Сивку добавишь, — сказал Юзас, словно не расслышав Адомаса. — Если не жалко, — повторил. — Тебе же пара рабочих останется да двухлеток в придачу. Говорю, если не жалко.

Снова помолчали.

— Или много прошу?

— Нет, ты погоди... Ты мне прямо давай... не шутишь?

— Может, и на сруб, — гнул свое Юзас. — Бревна под соломенным навесом сложены. Еще дедушка Йокубас припас. Мне быгодились.

— Так ты, правда, не шутишь?!

— Про корову долго говорить не стану: можешь — хорошо, не можешь — тоже хорошо. Поначалу перебыюсь, а там видно будет. Хорошо бы и овцу, но это опять же как совесть тебе подскажет. Лучше бы суягную. На Кайрабале с кем она порезвится? Без ягнят хутор не хутор.

— Нет, ты погоди!.. — у Адомаса губа отвисла.

— Может, и курочек. На Кайрабале, сам знаешь, живность всякая ползает с ростепели до морозов,

осенью ягод видимо-невидимо. Курица, сам понимаешь, это курица. Не птица, а поквохчет утром, яйцо беленькое снесет. Много мне не надо, хотя бы парочку, и на том спасибо.

Юзас говорил медленно. Он, оказывается, все обдумал да все взвесил. За эту одну ночь? Даже не за всю, а за ту, что оставалась после свадьбы Винюне! Кайрабале?.. Какое, черт возьми, Кайрабале! Это болото?! Трясина эта?! Каждый год в самом разгаре лета хозяева окрестных деревень отбивали косы, брали с собой харчи на несколько дней и отправлялись в сторону Кайрабале, а вслед за ними на следующий день шагали и женщины. С белыми граблями на плече, все как одна в белоснежных платках. У всех на болоте да по его берегам покосы были, неизвестно когда и кем отрезанные для каждого. Вот и мажали они здесь косами среди осоки на зыбучих мшаниках. Не бог весть какой корм для скота, но все же не солома ржаная, не горькая полынь. Если сольцой посыпать, когда осенью складываешь сено в сарае, сойдет и оно, лошадь или корова морду не воротит. И, поскольку всюду поблескивала вода, косари складывали сено на волокуши из крушины или ольхи и, поднатужась, тащили к островкам, взгорбившимся по всей Кайрабале и заросшим можжевельником да чахлыми сосенками. На этих островках они сушили сено, а потом уже складывали тут же на сеновалах. У всех были на островках сеновалы, построенные на скорую руку и стоящие уже который десяток лет. Только зимой, когда мороз заковывал в лед болотный мшаник, все опять приезжали на болото. Грузили сено на сани, везли домой, а там уже перекладывали на настоящие сеновалы, уминая при этом крепко, чтоб не сверху валяли целыми охапками обленившиеся домочадцы, а выдирали снизу можжевельным крюком да берегли каждую травинку, мешая с чабрецом и тимофеевкой с жирных лугов, сложенными отдельно. Все поступали так. И Адомас с Юзасом тоже. Видно, всегда так было. Чего доброго, и будет так всегда. Как же может быть иначе? Но никому и никогда еще не стрельнуло в голову перебраться жить на Кайрабале. Даже в бреду никому не померещилось. Юзас был первым.

Адомасу показалось, что это ему снится. Не спит вроде он, а сон видит.

— Если б еще телегу, — снова загудел голос брата. — Завалящую какую... И борона пригодилась бы да плужок. На голом месте, сам знаешь, каждая травинка чистым золотом тянет.

Адомас насторожился. Отшвырнул недокуренную папироску.

— Какую тебе еще телегу? — едва не закричал. — Какую чертову борону? Завалящую тебе? Плужок завалящий? Раз уж ума лишился, зачем выклянчиваешь, как в долг? Не брат я тебе? Не родной? Зверь я тебе? Да бери и уноси чего душа желает! Хоть все хозяйство! Как вот ты устроишься на этой трясине? И какого черта? С чего это приспичило, какой леший тебе подошвы подпаливает?..

В жизни так не орал Адомас. Самому стыдно стало. Вытянул из пачки новую папироску, стал рас-

куривать, но руки тряслись, не мог спички удержать. А когда раскурил, тут же поперхнулся, затянувшись густым дымом.

Юзас посмотрел на брата, отвернулся. Терпеливо ждал, когда тот выкашляет острый дым.

2

И тут оба брата притихли. Услышали у амбара голос их сестры Уршуле:

— Не надо привыкать!..

И мужской:

— Так-таки и непустишь, Уршулите? Правда, непустишь?

— Не надо привыкать,

— Ты знаешь?.. Я тебе, Уршулите, знаешь?.. Я же тебе, Уршулите!..

— А кто хвастался перед всеми сопляками? Когда это ты от меня получал, скотина этакая? Ему бы все похвастать, мужчиной себя перед другими выставить! Сперва стань мужчиной, а потом хвастайся!

— Да разве же я, Уршулите?! Чтобы мне смогу живьем в пекле пить, если я хоть слово кому!

— Сорока пролетала, всем рассказала, не ты! — фыркнула Уршуле. — К сороке теперь и просись!..

Смеялась, дразнила Уршуле, но голос ее звучал сердито, казалось, вот-вот заплачет.

Братья в избе молчали.

— Так-таки и непустишь? — услышали снова мужской голос. — Непустишь?!

— Не надо привыкать!

Юзас повернулся к Адомасу. Тот сидел, понутив голову. Горе у них с Уршуле. Не успели еще кости папеньки с маменькой в земле остыть, а девка будто с цепи сорвалась. Одно слово — застоявшаяся кобылица! Где только вечеринки, крестины или поминки, всюду она первая, голосистее всех да и в танце самая удалая. А уж парней, парней-то... Первую на танец ее приглашают, последнюю отпускают, из дому приводят и домой проводят, всем собакам деревенским спать не дают. Пытались братья образумить сестру, да ничего не вышло.

— Намолчалась, напостилась! — отрезала Уршуле.

И опять за свое. Хватала чего могла и справа и слева, ни сраму, ни сплетен не боялась. Вот и делайте с ней что хотите.

На дворе хлопнула калитка рядом с воротами. Уршуле уже не смеялась, а кричала:

— Сбесился ты? Да еще при свете, на виду у всех! Рукам волю не давай! Сказала же: не надо привыкать! И топай, откуда пришел. А то кликну братьев — ворот с перепугу не найдешь, чтоб удрать-то!

— Да темно ещё, Уршулите... — почти плакал мужчина. — Еще только светает, темно еще...

— Не надо привыкать!

И опять калитка хлоп да хлоп. Уршуле, по-видимому, не на шутку выталкивала гостя со двора.

— Уршули-и-ите!.. — умолял тот, оказавшись уже за забором,

Уршуле вошла в избу. Увидела братьев, вздрогнула, залилась краской, но тут же успокоилась. Статная, будто липа, кровь с молоком и с таким свежим лицом, словно и не протанцевала на свадьбе в Павлакне всю ночь, и пива не пробовала, и у ворот от парня не отбивалась, а только что из постели да ледяной росой умылась. Правда, глаза сузились, куда-то вглубь ушли.

— О, уже на ногах оба! — весело крикнула братьям. — И сидят, будто два голубка. О чем воркуете, пока солнышко не взошло?

Юзас промолчал. Адомас обвел взглядом сестру, спросил без злости:

— Сегодня-то с кем?

— Уже выпроводила! — рассмеялась Уршуле. — А вы-то чего такие кислые? И впрямь чего стряслось? — посерьезнела сразу.

— Добегаясь однажды, прямо тебе говорю. Заплачешь в три ручья.

— Из-за этой чепухи-то? — удивилась Уршуле. — Братец ты мой, Адомас, старший братец и младший! Знайте и запомните: когда набегаюсь, тогда и заплачу, а пока еще не заплакала, так зачем? Пускай божьи старушки в богадельне свои веночки оплакивают. А мне-то чего? Я как все. Как другие девки!

Уршуле бойко сновала по избе, и Адомас крепче стиснул челюсти, а Юзас сидел не шелохнувшись.

— Да еще из-за этой глисты из Грикапеляй, из-за этого Стяпонюкаса? Нашли, видите ли, заботу!

— Так это Стяпонюкас здесь был? — скрипнул зубами Адомас.

— Присох! Всю ночь за мной, будто на веревочке привязали. А моя песенка для мужиков одна и та же: проси — не дам, покупай — не продам, женись — тогда получишь!

— И для всех та же самая песенка? — сердито спросил Адомас.

— Отчего же для всех? — простодушно удивилась Уршуле. — Только для того, которого поймать хочу!

Опять рассмеялась Уршуле и ни с того ни с сего сказала:

— Выйду я за него. За Стяпонюкаса-то.

Адомас сам не заметил, как приподнялся, уперся руками в лавку.

— За... глисту эту?!

— А откуда мне достать лучше? — вспылила Уршуле. — Всех, кто получше, переловили те, кто пошустрее!

И тут же объяснила, уже спокойнее:

— Потому и перину не откидываю. Попробуй слови его потом!

Адомас оторвал ладони от лавки. Смотрел на сестру исподлобья. Просто не поверил, что слышит это. Такая молчаливая была при родителях, слова не вытянешь, а теперь? Не узнать девуку да не понять!

— Кто виноват?.. — процедил сквозь зубы.

— А я виноватых не ищу. Сама виновата, кого мне искать-то!

Адомас не знал, что и сказать сестре. Повернулся к Юзасу. А тот сидел, как и раньше, словно и не брат

он ей, не из одного с ней глезда. Уршуле повернулась к нему.

— А ты-то, Юзас, чего? — спросила. — Со свадьбы удрал, будто хвост тебе прищемили. Винцюне потом искала, искала!..

— Будет врать, — заерзал на скамье Юзас.

— Да искала же! Где, говорит, этот мой самый долгожданный гость? Прощальную польку со всеми отплясала, с ним одним забыла, как же мне теперь к мужу ехать-то? И впрямь, Юзас, с чего ты это? И спасибо не сказал, и последней пены пивной не сдул?

— Рада зубы почесать! — огрызнулся Юзас.

— Да не очень-то рада. Все видели, будто огонь, вспыхнула Винцюне, когда ты с ее свадьбы...

Начала в шутку Уршуле, но теперь уже не смеялась. Глядела на старшего брата исподлобья. Тот ничего не говорил, но щеки у него посерели, голова склонилась еще ниже. Адомас не выдержал, стукнул рукой по лавке.

— Отойди, чем трещать! Винцюне, Винцюне!.. Коровы не доены, подпасок не бужен, стадо не выгнано, а ты все про Винцюне. Раз домой притащилась, так за домом и смотри!..

Уршуле отшатнулась испуганно.

— Ну, будто шершни, будто шершни вы оба! — утерла слезы. — Неужто пиво у Винцюне вам не понравилось? Или водочка невкусная была?

И зашагала к двери, не дожидаясь ответа. В сенях гроыхнула чем-то, хлопнула дверью, а добравшись до амбара, затянула:

По лесу скакал,
Сено там косил!..

Братья долго молчали.

— Видишь?.. — сказал Адомас.

— А тебе лучше-то? — ответил Юзас.

— Чего мне лучше?

— Что вижу.

Посреди лесочка сено посушил! —

горланила Уршуле в амбаре.

— Распустилась же девка!.. — сказал Адомас.

— Мужа ей надо.

— Мужа? Эту глисту из Грикапелей?

Юзас ничего не ответил брату.

— А тут еще ты с этим своим... болотом!

Юзас промолчал.

— Теперь вижу: не один, а двое бешеных у нас в доме.

Юзас все еще не произнес ни слова.

Адомас встал, подошел, стуча деревянными подошвами, к печи, постоял у нее.

— Юзас, — негромко окликнул, снова усевшись рядом с братом.

— Ну?

— Юзас... очень тебе нужна была Винцюне?

Юзас ни слова в ответ.

Сено увяло,
Лошадь устала,
До моей девицы доскакать нет сил! —

распевала Уршуле, топая по двору с подойником в руке.

— Юзас? — опять позвал Адомас.

— Ну?

— А эта Винцюне, Юзас, нельзя сказать, чтобы так уж... Мужик ты основательный, найдешь другую. Может, и получше ее.

Юзас молчал.

— Ерундовый твой разговор, — сказал наконец брату.

— Так-таки ерундовый?

Юзас опять помолчал, потом добавил:

— Когда сердце тянет, ногами не упрешься.

Адомас повернулся к Юзасу, долго смотрел на него. Тот сидел вполоборота к брату. Огромный, добрый. У Адомаса чуть слезы не брызнули из глаз, до того жалел он Юзаса. Все эти дни видел, брат не в себе. Работает — молчит, ест — молчит, за что ни возьмется, забудет кончить. Договорились второй колодец копать в саду, чтобы поближе к грядкам под яблонями. Юзас взял лопату, Адомас уехал на ярмарку в Камаяй, после ярмарки родню навестил. Возвращается вечером следующего дня, а земля над ямой так и летает, Юзаса и не разглядишь, до того вглубь ушел, все жмет без передыху, жмет да жмет! Не оклики его Адомас, может, землю насквозь прорыл бы да вылез откуда-нибудь прямо из-под земли.

— Юзас, — тихонечко сказал Адомас. — Значит, она очень была нужна тебе?

— Много говоришь, — сурово оборвал Юзас.

— А ты сразу и сердисься. — Адомас прислонился спиной к стене. — Худа я тебе никогда не желал и сейчас не желаю.

— Раз не желаешь, чего тянешь докучную сказку?

Адомас прикусил язык. Сидели оба и молчали.

И еще сильнее сжалось сердце у Адомаса. Вспомнилось ему, как он покупал часы. Когда отца-мать похоронил да впервые в жизни получил деньги в руки, будто голову потерял. В тот же день поскакал верхом в городок и отхватил себе часы. Самые дорогие. Золотые! Первые золотые часы во всей деревне! На отцовские гроши. Не говоря никому ни слова, ни с кем не советуясь. Вся деревня судачила тогда об этой покупке. Знали люди: старший в доме-то Юзас, первый шаг ему положено делать, так как же это получилось?

Загорелись уши у Адомаса. Не только часы обжигали его. Вспомнил, что Юзас тогда ничего себе не купил. Даже не спросил, осталось ли да сколько осталось денег после смерти отца и сколько их уцелело после двойных поминок. Юзас повиновался младшему брату с первого же дня, словно и не был никогда старшим. А вслед за ним и сестра Уршуле. Поплакала, забежав в амбар, и тоже подчинилась. С парнями стала пошаливать да гулять уже потом, когда годовщина со смерти родителей миновала. А тогда нет. Но, даже когда загуляла, ни разу не повысила голос против Адомаса, признавала его за главу семьи. Его, а не старшего брата Юзаса.

— Прости ты меня, Юзас, — попросил Адомас.

- Да не за что,— отозвался Юзас.
- Обижал я тебя.
- Много говоришь!

3

От края до края зацвела в поле рожь. Так буйно, что колосья пылили вовсю и голубоватый сытный хлебный дух курился на солнце, насколько видел глаз. Даже голова закружилась у Юзаса, когда он ступил на тропу среди ржаного поля, зарябило перед глазами. Протянул руку, провел по колосьям. Горсть сразу наполнилась мутноватым медом, приторно пахнущим и до того липким, что радость легким ознобом пробежала по спине. Юзас любовался медом, показал ладонь Адомасу, идущему вслед за ним. Адомас улыбнулся, остановился. Так и стояли они посреди ржаного поля в лучах жаркого солнца, покрытые легкой веселой испариной, не говоря друг другу ни слова.

Вышли они из дому сразу же после утреннего разговора в избе. Не толковали больше, не сговаривались больше, только торопливо позавтракали и поднялись из-за стола. Без лишних слов понимали оба, куда идут. А сейчас глядели на капли мутноватого ржаного меда на ладони Юзаса и улыбались.

— Может, тронемся? — первым нарушил тишину Адомас.

Рожь кончилась, тропинка оборвалась. Братья шагали по пылящему, жаркому проселку. С обеих сторон топорщил колючие остья ячмень. Потом и он кончился. Затемнели пары, заросшие колючим бодяком. Вот и мостик через Павирве, и деревянный крест за мостиком у излучины дороги. «Крест Йокубаса», так называли его люди. Все, от мала до велика, знали, что Юзасов дедушка Йокубас поставил этот крест, вернувшись с турецкой войны. Он дал обет, когда у Черного моря палили турецкие пушки: «Если живым останусь, боже святой, если целым домой вернусь, то поставлю я тебе не один, а два креста: на дороге у мостика через Павирве, где бегал малышом да ловил в речке выюнов, и перед костелом, чтоб видел каждый, кто идет по мостику через Павирве и кто, сняв шапку, стоит в ограде костела во время обедни». Дедушка Йокубас не швырялся словами, он сделал все точь-в-точь, как пообещал. Едва ли не последнее зерно из дому вымел, дойную корову на базар отвел. И не только оба креста поставил, но еще ограду железную вокруг каждого креста у кузнеца заказал. Юзаса тогда еще на свете не было. И Адомаса тоже. Но сотни раз слышали они рассказы соседей о том, как торжественно освятил настоятель оба креста и что народу во время освящения креста у мостика через Павирве собралось даже больше, чем у костела, и все пели псалмы да вслух творили молитву.

Вот так оно было.

Теперь, остановившись под крестом и подняв глаза вверх, оба брата вздрогнули: замазка искрошилась, стекло давным-давно выпало, деревянный Иисус, исхлестанный ливнями, иссушенный солнцем

да выстуженный морозом, весь в трещинах, скорбно глядит на них...

Переглянулись братья и долго молчали.

Видно, правду говорят люди: если человек что-нибудь делает, его сын еще продолжает, а внук уже нет. Не берегут внуки того, что оставили им деды. Даже могилы дедовы редко навещают. Не приходят в ночь поминовения усопших, не зажигают свечек, не кладут цветы в ноги. Умершие деды внукам не нужны. Никому они уже не нужны. Умерли дети человека, и не стало человека, памяти о нем.

— Нехорошо,— сказал Адомас.

— Забыли, запустили. Дедушка Йокубас встал бы теперь — не похвалил нас.

— Конечно, не похвалил бы. Да откуда время на все взять?..

— Много говоришь, Адомас.

Ничего не ответил брат Юзасу, зашагал дальше. И Юзас двинулся за ним. Молча топали они вдоль овсяного поля, узкими полосами протянувшегося до леса.

— Сам вырежу,— заговорил Юзас.— Нового Иисуса. И стекло вставляю.

Адомас опять промолчал. Смахивал со лба густой пот. Солнце поднялось высоко, воздух мерцал над полем, катил жаркими волнами, пеленал деревья у дороги, застилал голубой дымкой лес вдалеке. Смахнул пот и Юзас. Всего в два шага длиной были тени братьев. Ровно полдень.

Так они и шли, не говоря друг другу ни слова, все думая, что нехорошо, очень даже скверно получилось с крестом дедушки Йокубаса. Молча взобрались на холм Шяудиняй, а тут и увидели: лежит у них под ногами болото Кайрабале.

Заглохшее от багульника да пьяники, заросшее по берегам непролазными кустами крушины, ивняка и ольхи, казалось, ревниво охраняет оно свой колышущиеся просторы, нескончаемые кочкарники и затаившиеся во мшаниках и зарослях рогоза болотные окна, которых не могли сковать даже лютые морозы. Из бездонных трясин то тут, то там выглядывали горбы холмов, заросших стройными смолистыми соснами да непроницаемо черным можжевельником. А там, где не холмы, не корабельные сосны и не можжевельник, зимой и летом простиралась равнина с порыжелой осокой и вахтой, утыканная сосенками и березками, до того чахлыми и заплаканными, что и в двадцать и в пятьдесят лет ни одна не достигла роста взрослого человека. А среди них, среди зарослей осоки да заплаканных сосенок зияли окна черной тины, длинные и широкие, подстерегающие зазевавшегося человека или зверя. Не помнили люди, чтобы кто-нибудь по доброй воле приближался к ним. Даже птица, нечаянно оказавшаяся здесь, начинала вопить дурным голосом и улетала прочь, отчаянно маша крыльями. Лишь слепни с комарами держались этих мест, искали ивняк, оплетенный колючей ежевикой, и, найдя, вели свой веселый хоровод. И во всей округе был только один человек, знавший потайную тропу мимо этих озерков, который мог пройти от одного края огромного болота Кай-

рабале до другого, минуя все болотные окна. Дедушка Йокубас был этим ведуном. И, когда он умер, люди решили, что теперь никто уже не знает потайной тропы, поэтому следует вдвойне и втройне остерегаться западней Кайрабале. Ни одному и в голову не приходило, что остался в живых еще один такой ведун: дедушка Йокубас показал эту тропу своему внуку Юзасу, научил на шаривать длинным шестом под зыбунами твердь, где смело можно ставить ногу, будто шагаешь по ясной полевой тропе. Не знал об этом даже Адомас.

Долго стояли братья на вершине холма Шяудиний. Глядели. Молчали.

— Сарай вижу, — сказал Юзас. — Наш.

— Где? — спросил Адомас.

Сенных сараев было здесь не один и не два. Почти на каждом болотном островке среди золотистых стволов сосен темнели стены их да крыши. Который из них наш, который соседей?

— Не разгляжу, — сказал Адомас. — Наш не разгляжу.

Юзас кивнул. Не говоря ни слова, стал спускаться с холма. Адомас следовал за ним.

Братья подошли к своему островку, продравшись сквозь заросли крушины на берегу. Несколько сосен гудят на вершине холма, пониже торчат кусты можжевельника. А посреди можжевельника сенной сарай. И оба вспомнили, как дедушка Йокубас перетаскивал волокушей сено на этот холм. Рослый, поджарый, крепкий в кости старик. Непременно в белой холщовой рубахе ниже колен, подпоясанный широкой пестрой лентой, которую бабушка выткала из крученых шерстяных ниток. Такой нарядный, словно не на сенокос пришел дедушка Йокубас с тоненько отбитой косой на плече, а на храмовый праздник. Укладывал прокос за прокосом у подножия холма так, что все болото звенело, а потом перетаскивал накошенное за утро на холм для сушки, пусть бы капелька пота у него на лбу, пятнышко на белоснежной рубахе, хотя солнце огнем поливало Кайрабале, выдавливая из черной тины жаркую белую пену, булькающую возле каждой кочки. Умел работать дедушка Йокубас. Научились и Юзас с Адомасом, как только подросли. А вот сарай стоял на холме тот же самый. Покосившийся от старости, с иссеченными дождем стенами, однако стоит, не валится. Оберегает от дождя и ветров травку-осоку для зимней кормежки скота.

Братья дружно, словно по уговору, глянули вправо. Здесь лениво шевелила мхи Павирве, взявшая начало в черных водах Кайрабале. Та же самая Павирве, которую братья видели из года в год, знакомая и не совсем. Не сразу разберешь, сколько ни смотри, в какую сторону несет она здесь воды. Кое-где даже из-под мха не проглядывает, бормочет под спудом, только у их островка превращается в настоящий ручей. А здесь уже и хрупкие ивняки, и темно-красные ольшины выстроились по берегам, глядят и наглядеться не могут, как Павирве с глухим урчанием проторяет себе дорогу поглубже да пошире.

— Юзас, — окликнул брата Адомас.

— Ну?

— Зачем ты сюда пришел, Юзас?

— Здесь строиться буду.

— Рехнулся?

— Суглинок, не чистый песочек, да мох. Выкорчую ивняки да ольшины, вспашу плугом, добрый лен уродится. А после льна можно зерно сеять. Все будет хорошо.

Подошел Юзас к ивняку, взял куст за ветки да деранул, показывая брату, как он управится с этими зарослями. Куст поддался не сразу, держался, впившись корнями в песок подо мхом. Юзасу пришлось поднатужиться, пока не выдрал на свет божий бледные длинные корни.

— Юзас, — опять окликнул Адомас.

— Ну?

— А может, не стоит?

— Чего тебе не стоит?

— Не мне, тебе не стоит. И не перебирайся ты, и не выдумывай. Вместе росли, под одной крышей уже и горбиться стали, а разве цапались, разве кусок хлеба друг у друга считали? Братьями были, братьями останемся. Так чего вдруг ни с того ни с сего? Людям на посмешище? Подумай хорошенько, сам поймешь. Чистую правду тебе говорю.

— Это сказать и пришел?

— Может, это, может, что другое.

— Что же другое?

Адомас молчал. Давно уже знал Юзас, не умеет Адомас врать. Никогда не умел. Даже маленьким. Сделает что-нибудь не так и не может в глаза посмотреть. Но и правду сказать не всегда у него духу хватало.

— Валяй все, — подбодрил брата. — Чего между своими огород-то городить?

— Разговор-то мы не кончили Юзас. Уршуле теперь уже гостя в доме. За глисту из Грикапеляй или за другого болвана, но выскочит. Что тогда? Изба, горница, чулан — для целой оравы места хватит. Пропаду один среди голых стен.

— А вдруг не пропадешь?

— Один-одинешенек в такой домине?

— Почему же один? Я ухажу, Уршуле, сам говоришь, за глисту из Грикапеляй выскочит, ты тоже бобылем не останешься. Приведешь в дом жену, а она тебе детей как запузирит — все углы кишмя закишат!

— Складно говоришь, — усмехнулся Адомас. — А я опять скажу: если б и ты, Юзас? Если б мы оба? Разве места нам не хватит? Отец дедушки Йокубаса такой дом отгрохал, что места хватит и моим, и твоим детям, и даже детям наших детей! Юзас посмотрел на брата.

— Много говоришь, — сказал. — Ничего мне не надо. Ни избы, ни горницы. Решил уже, здесь строиться буду.

Адомас посмотрел на брата в упор.

— А по моему разумению, если с одной не выгорело, то разве уже и крышка? Скажешь, у всех выгорело с первого раза? Стоит ли головой стенку

дубасить? Полные деревни и полные хутора девок на выданье, Юзас, только свата позови.

Юзас долго молчал после этих слов Адомаса. А потом сказал с такой горечью, что у Адомаса кольнуло сердце.

— Ничего ты не понял.

— Раз уж так... раз уж так у тебя получается, Юзас, одно скажу: не бери ты буренки. Пеструху тебе отдам.

Юзас не отозвался.

— Буренка, сам знаешь, и пятнадцати кружек молока не дает. Разве это корова? И яловая она, второй год. Лучше уж осенью ее на мясо продам. Пока ляжки жилистые да хрящеватые не стали. Ты пеструху бери, Юзас. Совсем другой разговор.

— А тебе что останется?

— Останется и мне. Не одна пеструха во дворе, только доится легче других. В самый раз для тебя.

— А Уршуле? Что Уршуле в приданое дашь?

— И сивки ты не получишь,—гнул свое Адомас.— Ерунда сивка. Ленивая, копыта у нее слабые. Разве с такой на Кайрабале? Ты уж лучше савраса. Или гнедка. Эти не провалятся в трясины с первого шага.

Юзас посмотрел на Адомаса. Помолчали оба.

— Ничего тебе не отвечу,—сказал Юзас.

— А я еще скажу. Раз уж так, то бери из дому все самое хорошее. Ничего мне не жалко. Только опять тебе говорю: может, не надо, Юзас? Может, все-таки не надо? Насчет дележа не будем считаться, а вот от родни куда глаза девать? Густо у нас родни, сам знаешь. И все будто стеной стоят, высоко голову держат! Засмеют насмерть, Юзас. Придурками обзовут и тебя, и меня. Как Уршуле тогда? Даже глиста из Грикапеляй в ее сторону не посмотрит!

— При чем тут Уршуле?

— Не маленький, знаешь людей. Каждый хочет жену взять хорошей породы. А что за порода, если брат... если два брата—придурки? Вот и прикинь, Юзас.

— Кому какое дело, что я да как?!

— Людям этого не скажешь. А родне и того меньше. Еще дедушка Йокубас говаривал: люди не прощают того, чего не понимают. Будь как все, тогда и тебе будет как всем.

— Значит, опять?.. Шел дед в куцей шубенке, зацепился за мочало, и опять сказка сначала. Только докучная сказка у тебя в запасе.

— Говорю что надо, Юзас. Самое время сейчас подумать. И сделать как положено. Потом поздно будет.

— Разве все в жизни человек делает как положено?

— Может, оно и так, Юзас,—сказал.— Раз уж у тебя иначе не получается, что мне остается-то? Только говорю, может, и по-другому вышло бы?

Юзас посмотрел на брата. Вдруг вспомнилось ему, как дедушка Йокубас не терпел своего младшего внука Адомаса. Неизвестно почему, а не терпел. Куда бы ни шел, что бы ни делал, всегда Юзас с собой брал, не Адомаса. И тайную тропу пока-

зал Юзасу. Только он знал ее. Один. Во всех деревнях от Свидяняй до Моцюняй, от Рудияй, что на самом краю волости, до Лайчяй. Показал только ему, Юзасу. На Адомаса рукой махнул. Сжалось тогда у Юзаса сердце за брата. И теперь сжалось. Жалкий этот Адомас. Часы завел, а жалкость осталась. Не брать у такого, отдавать такому все надо.

— Как же мне по-другому-то?

Адомас просиял.

— Раньше в Америку, бывало, люди подавались. Много народу туда уехало. И по какой причине? Было дело, от царских жандармов спасались, а было дело, и от девки. Ты не сердись, я начистоту. Теперь, сам знаешь, Америка закрылась. Так, говорю, может, в Канаду? Или в какую-никакую Аргентину? Слышал я, едут люди, устраиваются, живут. Отчего бы и тебе?.. Пожил бы, денег бы заработал. Такой мужик, говорю, из Канады или из этой Аргентины ты бы и в Америку просочился, слышал я, и такое бывает. И стал бы американцем с золотой цепочкой поперек пуза, а?

Даже рассмеялся Адомас, так понравилась ему собственная речь.

Юзас помолчал.

— Складно говоришь,—сказал брату.— Беда только, что одну и ту же песенку поешь. В Канаду, Аргентину... В Канаду-то, разумеется, убежать можно, да от себя далеко ли ты убежишь?

— Известное дело,—опять помрачнел Адомас.— Может, оно так, а может, иначе.

— Раз известное дело, то чем Канада для меня лучше Кайрабале? Всюду один черт.

— Видишь,—проговорил Адомас, не глядя на брата,—один разве проживешь? Человек всегда при человеке. Ерунда одному. Опять же, говорю, от глаз людских было бы подальше. Раз уже не можешь, как все, то, говорю, лучше подальше от всех. Для тебя самого лучше, Юзас.

— А может, для тебя лучше, Адомас? Для тебя и для Уршуле. А мне-то что? Подальше, поближе—мне один черт, Адомас. Люди теперь меня не заботят. И мне люди не нужны, и людям от меня не нужно ничего. Пусть оставят меня в покое!

Юзас встал. Топнул ногой, как тогда, когда пришли на остров.

— Здесь строиться буду.

Адомас опустил голову

Вернувшись домой, братья обошли сад, а потом и все хозяйство. Постройки—лучше некуда. Из отборных бревен, да и срублены не кривыми руками. Много воды утекло с того года, когда отец дедушки Йокубаса ставил эти стены. Давно нет в живых не только прадеда, но и самого дедушки Йокубаса, и папеньки нет, и Юзас с Адомасом малость сутулиться стали, а постройки будто срублены прошлым летом. Изба на две половины. Амбар с резной дверью. Огромные, как на фольварке, хлсва. Между

хлевами дневная загородка для скота, куда можно въехать хоть и на самой широкой телеге. Гумно с овином, пристроенным к торцовой стене. Сеновал. Сарай тележный. Так и звенят бревна, и ветер их не берет, и древооточек.

Братья подошли к сараю. Здесь под навесом лежали сосновые стволы. Ошкуренные, высушенные в тенечке. Суров был дедушка, неразговорчив, но о завтрашнем дне позаботился. О завтрашнем дне детей, не о своем. Если красный петух или иная напасть, чтобы не пришлось его детям ездить по деревням да гнуться в три погибели поклоном погорельца за каждую горсть зерна да каждую копейку.

— В самый раз для тебя, — обрадовался Адомас.

— Как скажешь, так и будет, — поблагодарил его Юзас. — Такие бревна для меня, может, и слишком хороши.

Адомас покачал головой, хотел что-то ответить, но тут откуда ни возмись перед ними Уршуле. Умытая, одетая в праздничное, глаза так и блестят. Сколько ни помнят ее братья, всегда она такой была. Словно из другого корня выросла, с Юзасом и Адомасом даже ветвями не соприкасалась.

— За хоряками охотитесь, братцы мои ненаглядные?

И, не дожидаясь ответа, рубанула с плеча:

— Ну и обличье у вас! Шен невытые, щеки небритые! Турла уже давно человека присылал, Винцюне просит ее на мужнину сторону проводить. Соседи сбежались, а вы? А мы-то? Три раза приходил человек от Турлы, во дворе сидел, ждал вас. Слышите меня, братцы мои ненаглядные?

— Юзас уходит, — сказал Адомас.

— Куда это еще он уходит? На свадьбу, на проводы Винцюне давно пора!

— От нас уходит. На Кайрабале будет строиться. Отдельно жить будет. Один.

Уршуле посмотрела на братьев, прикрыла ладошкой рот.

— Вот это да, братцы мои ненаглядные! Не зря я вчера себе сказала, когда Юзас, не допив пива, ушел: что зверь голодный, что мужик недопивший — один черт. Ума не спрашивай!..

Отсмеявшись, опять накинулась на братьев:

— Пошутили, и хватит! Турлы кличут новый боценок открывать! Как брызнет пена через затычку, будто рукой все снимет. Только по-быстрому надо, по-быстрому, по-быстрому, братцы мои ненаглядные!..

И Уршуле увидела: братья не только не по-быстрому, а вообще как бы не слышат, что сестра говорит. Стоят оба и молчат.

— Юзас уходит, — шевельнул губами Адомас. — Сколько раз тебе говорить?

Уршуле посмотрела на него, потом на Юзаса, снова окинула братьев взглядом. Не сводила глаз с Юзаса, а лицо менялось, поблек девичий румянец на щеках. И братья молча глядели на нее. Слезы навернулись на глаза сестры, не удержала она их — брызнули. Уршуле охнула и, белая как полотно, убежала прочь, только услышали братья, как захлопнулась за ней дверь амбара.

Они сноза остались вдвоем.

Так и не пошли в тот день к Турлам. Уршуле тоже. Привыкли всюду ходить втроем, а если кто-нибудь не мог, то и другие двое оставались дома. Издавна так. И на другой день не явились. И на третий. И Турлы больше не посылали к ним человека. Без них отплясали проводы Винцюне, без них унеслась она с бубенцами на мужнину сторону, в далекую деревню Пуожас. И тихо стало во всей деревне, словно не свадьбу здесь играли, а за поминальным столом сидели.

Юзас разрушил навес над бревнами, торопился возводить сруб, подставив под каждый угол нижнего венца камень. Адомас, улучив часок, помогал ему. Иногда и Уршуле, натянув на глаза платок, чтобы шалый этот Юзас не видел ее слез. Вот и подымались стены, будто тесто из первой ржи. Когда заостился ячмень, овес перестал оплакивать юные деньки и сник, отяжелев от зерна, Юзас уже прилаживал бревна над оконными и дверными просемами. Замедлилась работа, лишь когда косовица забрала всех людей из дому. Подчистив косой ржища, не дожидаясь святого Михаила с его картошкой, Юзас снова взял топор в руки. При первых заморозках он уже поднимал над стенами стропила, даже обрешетил их. Потом отправился на Кайрабале, набрал там снежно-белого моха и сушил его на холме возле сенного сарая да под соснами, чтобы слишком не пересох да не сыпался потом из-под бревен, а хранил тепло для человека и скотины. И солому для крыши Юзас успел приглядеть до морозов. Снопы соломы, оказывается, оставались еще с прошлого года. И с позапрошлого. Много ли найдешь дворов без соломы, отложенной про запас? Разве у какого-нибудь лодыря или лежебоки, живущего одним днем. Лежала солома в снопах у стен, подставив стебли ветру и дождю. А когда Адомас увидел, что Юзас не на шутку собирается уходить, то припас и новую, не косой срезанную, а серпом сжатую под самый корень. Всего вдоволь было теперь у Юзаса.

Управившись с этим делом, стал Юзас выдирать камни. Нужно их было много: для избы, для хлева, для гумна. На холмах Кайрабале разве найдешь их? Булыжничка, чтоб голову проломить, не достанешь. Чего нет, того уж нет. Значит, камни надо искать здесь, где на межах лежат серые валуны, а из-под тугого лишайника вылезает на солнце искрящийся гранит.

Юзас готовился к строительству. И Адомас помогал ему во всем. А вот Уршуле нет. Неизвестно почему, но в один прекрасный день она даже в эту сторону смотреть перестала. Платок еще ниже на глаза опустила, за завтраком или обедом сидела, будто воды в рот набрав, лицо от братьев отворачивала. Сколько ни пытались они расшевелить ее — как горох об стену. Умаялись оба, пока не поняли: если ничего не помогает, и пытаться не стоит. Оставили в покое. Пускай выплачется девка.

Так наступили и морозы. Заковали, превратили в твердь зыбучие мшаники Кайрабале, поблескивающим льдом замуровали озерки, одни болотные окна

оставались не закрытыми наглухо. Курился над ними пар. Курился на рассвете, курился на закате, смеялись болотные окна над морозом.

А когда прочно установилась санная дорога, братья снова вернулись к срубам. Пометили, пронумеровали дегтем каждое бревно, каждую связку угла и тогда уже стали разбирать стропилину за стропилиной, венец за венцом и все на сани да на сани. Перехватывали груз цепью, стягивали веревками и — на Кайрабале. Работу распределили так, что дорога получилась с двойной выгодой: на Кайрабале — стены, а с Кайрабале — сено. Сочельник не наступил, а всё уже на месте. И сено, и стены.

А Юзас пропал из дому. Катил камни, доставленные на островок по первому морозцу, строил из них фундамент, укладывал на нем первый венец избы, а затем и второй. И, поскольку в сарае было оставлено для него сено, даже ночевать домой Юзас не возвращался. Валился, устав до изнеможения, натянув на себя тулуп, лежал один в темноте, слушал, как ветры ауют на болоте да Павирве несет воды подо льдом, и думал, что десяток, а то и больше таких речушек рождает Кайрабале и досыта поит их водицей от весеннего паводка и ливней, скопившихся в избынах да мшаниках. Не очень-то мощными рождались ручейки Кайрабале, иной долго маялся под корнями ивняка да осоки, преодолевал запруды берестяника да крушины, пока не вырывался наконец из болота. Зато даже в самое знойное лето не пересыхал ни один из них, бежал, журча, по полям да лугам, мимо зарослей черемухи, а обнаружив рукав оврага у какого-нибудь холма, тут же растекался глубоким омутом, в котором все лето носились шустрые выюны, черными молниями мелькали юные щучки, а в прибрежной траве грели на солнышке белое пузо жирные пиявки. Хрупкие бузины, празднично принаряженные ольхи, посеребренные капельками сока березы стояли у этих омутов и не могли налюбоваться на себя в гладком зеркале воды. Щедрым было Кайрабале. Не только речки свои кормило, но и пило вдоль их русел поймы, испаряло дождь для пашен, уговаривало рожь да пшеницу тянуться к солнцу.

Даже улыбался Юзас в потемках таким добрым мыслям.

А утром оба снова к срубам. Стены подняли с Адомасом до верхнего венца. Скрепили их стропилами, даже решетник прибивать начали, так спорилась у них работа. Если бы еще так денек, хоть один-единственный денек, то и снопы соломы поднимай да жердями ее прижимай — вот и крыша у тебя над головой.

Но к вечеру Адомас проронил:

— Мне ехать надо. Уршуле, сам знаешь, дома одна осталась.

Помолчал, потом добавил:

— Улучу денек и опять появлюсь.

Юзас остался. А поскольку крышу в одиночку крыть несподручно, то принялся за дверь, пробивал стамеской дыру для запора, а управившись с этим, вставлял по всей избе подоконники да вырезал на

них канавки, чтобы вода стекала со стекол, когда заладит весенняя капель или дождь. Надо было еще сколотить лавки вдоль стен и в красном углу, и шкафчик угловой напротив очага, и круглую колоду обтесать у порога для ведра с водой. Ну и еще флюгер на крыше, чтоб вращался, сотрясая стены да отпугивая мышей. Много всего нужно было Юзасу. И это только начало. Начало всему. Вот он и работал, не распрямляя спины, забывая смахивать со лба пот.

Поработав так целый денек, вечером с трудом добирался до сарая. Руки-ноги будто свинцовые, да и весь он точно мешок с камнями. Падал на сено, и сон сразу же смыкал глаза на всю ночь. Даже Винционе перестала светиться перед ним при луне — дала отдохнуть Юзасу. День изо дня так.

А встав однажды утром, Юзас увидел, что снова появился Адомас. И не один, а с Уршуле. Та сидела в санях, закутавшись в клетчатый платок, который еще маменька привезла с ярмарки, и не глядела на Юзаса. Только подбородок у нее мелко дрожал. Адомас вынул из саней чуть ли не полмешка картошки, Уршуле стала разводить костер, чтобы испечь ее, подать горячей, а то Юзас, может, и вкус картошки позабыл. Все делала, избегая встретиться взглядом с Юзасом. Разведя костер, снова подошла к саням, вынула сундучок с аккуратно уложенными припасами: горшочком масла, свиным окороком да двумя кругами колбасы. К горячей картошке масло с солью — может ли быть что лучше! Да и окорок разве помешает? Или ломтик другой колбасы? Еще заметнее дрожал подбородок Уршуле, когда она разложила всю эту снедь перед жарким пламенем. Посмотрела на Юзаса и увидела, что тот зарос темной бородой, глаза запали. Слезы навернулись на глаза Уршуле.

— Дурень!

Юзас вздрогнул, стиснул зубы. Не сказав ни слова, наклонился к огню, стал греть руки. А брат Адомас как ни в чем не бывало достал из-под соломы в санях топор. Совершенно новый топор с белым топорешем, еще не тронутым ничьей рукой. Потом и пилу с уже прилаженными рукоятями. И молоток. Не такой, чтоб косу отбивать, а потяжелей, чтоб гвозди загонять. И клещи, еще блестящие от ворвани, прямо из лавки. Наконец, деревянный четырехугольный ящик из неоструганных досок, разделенный внутри поперечинами на ячейки, а в каждой ячейке разные гвозди: длинные, средние, маленькие и даже такие, что не возьмешь их задубелыми пальцами. Юзас знал: ничего этого в доме не было. Сроду не водилось. Глянул на брата, спросил:

— Сбесился — деньги швырять?

— Надо, — ответил тот.

Уршуле, раздумавшись возле огня, смахнула слезу. Наклонилась еще ниже, сгребла жаркую золу, засунула в нее картошины и принялась резать хлеб. Все раскладывала тут же, рядом с костром, на брошенной в снег попоне. Адомас посмотрел на сестру, хмыкнул, напомнил о чем-то. Та догадалась,

вытащила из саней бутылку из темного стекла с засургученным горлышком.

— Может, попробуем? — спросил Адомас.

— Даже это прихватил?

— Надо, — сказал Адомас, откручивая ладонью сургучную затычку бутылки. — Первая капля на новоселье.

Пустили по кругу кружку, как привыкли дома и в гостях пить за здоровье друг друга из одной рюмки, закусывая, кричали. Подбородок Уршуле снова задрожал. Собралась было сказать что-то Юзасу, но тут же прикусила язык, потупила глаза. Адомас усмехнулся, подбодрил:

— Ты чего! Приехала сказать, так и говори.

Уршуле вскочила. Покосилась на брата. Залилась румянцем, побежала прочь. Юзас обернулся, перестал жевать.

— Девичье дело, — рассмеялся Адомас.

— Помолчи! — диким голосом крикнула Уршуле издалека.

Адомас помолчал, как ему и было велено, а потом посоветовал:

— Езжай-ка ты домой, Уршуле. Одна езжай. Мы тут вдвоем с Юзасом...

Уршуле уехала, так и не обмолвившись о том, что именно хотела сообщить Юзасу. И братья долго не говорили друг другу ни слова. Юзас взобрался на крышу, Адомас подавал ему снизу соломенные снопы, протягивал жерди для связки и разогретые в жаркой золе костра черемуховые прутья, чтоб привязывать к стропилинам. Работали молча чуть ли не до полуночи, почти добрались до конька, и лишь в сарае, когда оба улеглись уже, Адомас объявил:

— Замуж выходит наша Уршуле.

Юзас зашуршал сеном в темноте.

— Да вот гляжу.

— Тебя на свадьбу приехала звать. Все утро просилась в сани.

— Кто посватался?

— Да тот самый.

— Глиста из Грикапеляй?

— Стяпонас из Грикапеляй, — поправил брата Адомас. — Глистой был, пока с нами не роднился.

— Лучшего не могла подыскать?

— Да не хочет она лучшего. Знаешь, девка, ей бы только волю над мужем иметь. А когда мужик по-лучше, так ли уж ты его подомнешь? Скорее, он тебя.

— Над всеми мужиками бабы верховодят, довелось слышать.

— Слышал и я такие разговоры, а на деле, может, бывает и по-другому.

Братья долго молчали в сарае. Вокруг новой избы потрескивала от мороза земля. Казалось, кто-то бродит в темноте.

— Как же ты-то теперь? — спросил Юзас. — Один, без женской руки?

— Собираюсь в Мошюнай податься. Есть там такая Малайшите. Девка вроде ничего. В костеле ви-

дел. Она больше в молитвенник смотрит, а не на мужскую половину. Может, и ничего будет...

— Малайшите? Худого не слышал. Раз уж так, то, может, и свадьбу двойную, а?

— Куда денешься, раз так совпало. К Малайшите-то я, правда, еще не ездил. В мясоед собираюсь со сватом.

Адомас помолчал, спросил:

— Приедешь? Мою свадьбу не обидишь? Заранее приглашаю.

Юзас тоже помолчал в темноте.

— Раз свадьба двойная, почему Уршуле не звала?

— Так она же и ехала тебя звать.

— Ехала да уехала, слова не сказала.

— Боится девка.

— Чужой я для нее?

— Был бы чужим, не боялась бы. Не умею врать. Юзас, и не буду, говорю прямо: считают люди тебя тронутым. С этим болотом, понимаешь? Потому и Уршуле так. Приехала, увидела все как есть и растерялась девка.

— И Уршуле меня тронутым считает?

— Уршуле слезы вытирает.

Юзас помолчал.

— Приедет еще, — сказал Адомас. — Не раз уже поговаривала: только чтобы Юзапелис, братец мой, на свадьбе был, никого больше мне и не надо. Приедет, позовет, будь спокоен.

Юзас снова ничего не ответил. Лежали братья на сене рядышком, оба пытались заснуть. А в сарае вроде бы посветлело. Видно, звезды ярче стали под утро.

— Не спишь? — окликнул Адомас.

— Этот придурок из Грикапеляй — чушь со-бачья.

— Стяпонас из Грикапеляй.

— Не будет из него хозяина.

— Это как сказать. Уршуле его в руки возьмет, образумит. Она уж сделает, за что возьмется.

— Ерунда. Пропадет за этим дурнем.

— За Стяпонасом, Юзас.

— Называй ты его хоть королем, а дурнем был, дурнем и останется.

— В свахи Уршуле хотела Винционе пригласить, — сменил разговор Адомас. — Обе ведь сызмальства рядышком. Столько раз Винционе ее на вечеринки приглашала, и в подружки тоже, и на все праздники, как же теперь не ответить? Но опять же... тебя боится...

Сказал Адомас и стал ждать, что же ответит Юзас. А тот ни слова. Даже соломинкой не зашелестел.

— Не одну позовет, с мужем, — снова сказал Адомас. — С этим, знаешь, Стонкусом из Пуожаса.

Юзас и теперь ни слова не сказал, даже не шелохнулся, хотя Адомас наверняка знал: брат не спит.

— Ну как? — не вытерпел-таки.

Юзас не ответил.

Хорошего ячменного пива навари́л Адомас, заправив его крепким хмелем. Заколо́л мясного поросенка, зарезал двух баранов, намолот пшеничной пеклеванной муки. Позвал у́йму гостей, родню и не родню, столько, что столы пришлось ставить вдоль обеих стен и еще возле кровати, да и посередине избы — даже места для танцев не осталось. Юзас сидел в этом многолюдье поближе к красному углу, рядом с обеими парами молодых, закусывал, пробовал пиво, толковал с соседями и даже песни тянул со всеми, но все равно видел: уже не свой он здесь, отрезанный ломоть. Да и люди зыркали не столько на молодых, сколько на него, Юзаса. Никогда раньше этого не бывало, а вот теперь так, будто он чужой здесь, впервые сидит за столом с соседями. А больше других зыркала на него Карусе Чёвидите. Не Карусе даже, а еще Карусёте. Четырнадцать годков ей только, из пастушек не вышла, хотя уже в теле, с туго торчащей грудью под полосатой домотканиной. Сидела она за печкой на кровати, втиснувшись среди однолеток, шепталась, хихикала с подружками, но глазами все в него да в него стреляла. Даже головой мотнул Юзас от такой неожиданности, даже язык показал ей, Карусёте. Сам не понял, как это у него получилось. Карусёте зарделась, потупила глаза, а потом опять за свое. Да еще сильнее, пронзительнее поглядывает, ну просто как оса, захотевшая чужого меду лизнуть.

Весь этот вечер вздрагивал Юзас, сквозь гомон свадьбы прислушиваясь, не загрохочут ли по мерзлой земле колеса у ворот дома: может, она, Винциуне? Может, и впрямь она? Свахой быть отказалась, так, может, гостьей? Знал: не надо ждать. Что из сердца вырвано, не прирастет больше, как не прирастает отрубленная ветка дерева, не вернется Винциуне через ворота — ни через эти, ни через другие. Значит, самое время взнуздать самого себя. Юзас знал это и все-таки вздрагивал от грохота колес у ворот. Знать — одно, а не вздрагивать — другое. Совершенно другое. Юзас не слышал ни песен свадебных, ни гармоники, только этот грохот колес запоздалых гостей. Весь этот долгий вечер, а потом и ночь, когда свадьба разгулялась вовсю.

Винциуне не приехала. Что теперь для нее, госпожи в Пуожасе, просьба подруги детства Уршуле! Только передала через людей, что не может она в свахи. И в гости тоже. И она и ее муж, этот Стонкус из Пуожаса. Оба не могут, работы невпроворот. Все поняли, почему она так. Вышла замуж за хозяина чуть ли не тройного надела. Рысаки в конюшнях, одних только дойных коров целая дюжина, тьма овец, тучи гусей да уток. В настоящие помещики лезет Стонкус из Пуожаса. Уже теперь его хутор — с добрый фольварк. И Винциуне теперь с ним. И Винциуне. Оба. Будут они тебе сидеть среди хозяев, у которых по половинке надела, или бобылей, среди которых даже владелец полного надела так редок, как сизый ворон среди серых ворон. Не это теперь в голове у Винциуне.

Но не знали люди, что не только тройной надел преградил путь сюда Винциуне. Острой колючкой впился в ее сердце Юзас. Нельзя сказать, что она так и сгорала от любви к нему, а все-таки вырвать из памяти не могла, и жалость к Юзасу не заглушили в ее сердце ни дюжина дойных коров, ни тучи гусей да уток. Сама не понимала, почему это так, но знала, что, если вырывала да не вырывала, не стоит бередить рану, пускай загложнет потихоньку, как неполютый цветок. Пускай.

Нет, люди не знали об этом. И Юзас не знал. «Отрезанный ломоть, как и я», — думал он. В сердце закрадывалось вдруг: раз избегает она встречи, значит, не забыла, не запомнила и не так уж ей, видать, сладко там, на этом фольварке. И еще сильнее екнуло сердце у Юзаса от этих мыслей. Сидел он среди гостей в одиночестве, забывая поднять стакан ячменного пива, и все больше мрачнел.

— Дядя, а со мной не потанцуешь? — услышал голос Карусёте.

Девчонка стояла перед ним, по ту сторону стола. Смотрела такими умоляющими глазами, что Юзас сам не почувствовал, как встал с лавки. И сразу затихли разговоры в избе. Словно во сне, взял Юзас обеими руками Карусе за бока, притопнул сапогами, смешался с другими парами, а тогда уж так ринулся в пляс, что очнулся, лишь услышав, как хлопают в ладоши все кругом.

— Женится Юзас, женится!.. — кричали гости.

Юзас отпустил Карусе. А та в слезы. Бросилась за печку, на свое место, втиснулась среди подружек. Юзас поднял голову, обвел взглядом гостей. Подождал, пока все затихли, и, не сказав ни слова, зашагал к двери.

— Юзас, Юзас!.. — крикнула Уршуле.

Юзас не остановился.

Шел один. Был уже предрассветный полумрак. Тишина. Холодок, оживший под утро, потрескивал у пашен, затягивал льдом лужицы у дороги. Юзас шел и думал, что, может, и впрямь он тронутый, как проговорился Адомас? Все у него шиворот-навыворот, не так, как у людей. Со второй свадьбы уходит подурачки. А зачем? Очень теперь сладко Уршуле, когда ее братец так? И Адомасу? Куда глаза девать. Адомасу? Не подумал, когда топал к сням. Ни о чем не подумал. Нашло затмение, взял да ушел. А зачем? И при чем тут Карусёте? Худа же не желала эта девчонка. Весь вечер на него зыркала, так почему он не мог с ней потанцевать? На то и свадьба, чтоб люди танцевали. А он, видите ли, нет. Плачет теперь Карусёте, спрятавшись за спины подружек...

Не одну версту думал Юзас, силясь понять, почему он поступает так, а не иначе. Остановливался даже, собираясь вернуться, обнять сестру Уршуле, попросить Адомаса, чтоб не сердился, сказать обоим, что вдруг нашло на него: взял да убежал, а теперь вот вернулся... Но ноги сами несли Юзаса подальше от свадьбы. Все дальше и дальше. И только слышал он, как под ногами хрустит сухой ледок, раскалывается комок земли в колее да шуршит жнивье от дуновения проснувшегося ветра...

Юзас не вернулся-таки.

Брезжило утро. Вот он и дома. Дома. Не совсем, конечно. Надо еще достроить хлев в конце избы и чулан привести в порядок. Не столько для припасов готовил его Юзас, а больше, чтоб гостя пригласить, если таковой случится, да за белый стол посадить. Для припасов есть кладовая, где жернова, закрома для картошки, широкие полки для кувшинов и горшков со снедью. А гость в дом — бог в дом. В кладовую, где картошка, его не пригласишь. Для гостя место должно быть летом прохладное, а зимой теплое. Как гостю положено. А еще надо потолок избы засыпать сухим мхом с песочком, и флюгер пока не возвращается на крыше, не сотрясает стены и не пугает мышей, которых, правда, нету, но, разумеется, будут. Где ты видел избу без мышей? А хуже всего — колодья во дворе еще нет. Дом без колодца — это не дом...

Даже ладони зачесались у Юзаса, когда он об этом подумал. Поправил фуражку на голове и сразу позабыл Карусе, обе пары молодых, пивную пену и даже то, что не дождался на свадьбе той, которую ждал больше всего на свете.

Юзас принялся за хлев, который покамест стоял без дверей. С этой работой надо было поторопиться: самое время корову и лошадь пригнать на холм, пока от весенней ростепели не открылись все трясины Кайрабале. Упустишь время и будешь стоять, подняв руки, перед трясинной да ждать летней суши. Засучив рукава, Юзас за недельку доделал все, что требовалось, и выбрался к Адомасу, теперь уже женатому. Неизвестно, правда, как встретит он Юзаса после всего, что не должно было случиться, на свадьбе, но случилось-таки.

Однако Адомас и глазом не моргнул. Встретил гостя вместе с женой, бывшей Малайшите, а теперь уже Адомене, ввел в избу, усадил за стол, напустил в кувшин пива из бочонка, чудом уцелевшего от свадебного пира, нарезал окорока, отрубил сушеного сыра и хотя бы словечко обронил о том, что не должно было случиться. А потом, сдув с кружек первую пену, втроем отправились в хлев. Вывел Адомас на двор не буренку, а пеструху, как и обещал. И лошадь, не ленивую сивку с худыми копытами, даже не савраса, а пятилетнего гнедка, приведенного с хутора Малайшисов в приданое. И двух овец подвели Юзасу: одну суягную, а вторую еще яловую, молоденькую. Невестка предложила Юзасу и кур, если только он хочет, а то и гусей да уток хоть по парочке: поплавали бы в болотных окнах Кайрабале, птенцов в тростнике выводили, все же прибавление на хуторе, радость для хозяина.

Юзас окинул взглядом невестку. Женщина статная, толстые желтые косы туго заплетены, еще туже над головой закручены, а глаза — самый голубой василек при виде их спрячется. Повезло Адомасу, настоящую руту-цветок в Моцюнай нашел! Что и говорить-то! И Юзас покраснел, вспомнив свадебный вечер, даже уши загорелись от стыда и чувства вины перед невесткой.

— Очень ли сердишься? — спросил,

Невестка уставилась на него, сама зарделась, потом рассмеялась — звонко, как серебряный колокольчик. Адомас сказал:

— Да будет тебе, Юзас. Что было — сплыло, да и было ли вообще...

— Тогда хорошо, — выдохнул воздух из груди Юзас. — Раз уж так, то и хорошо.

Гусей да уток не взял. Знал, своими глазами видел: на островах Кайрабале барсуки норы роют, остромордая лисица в тростниках частенько ширыряет, мигом бы ощинала. А за кур спасибо сказал. Получил рябую несущку, еще хохлатку и в придачу молоденького петушка, уже достигшего такого возраста, что или самим резать, или продавать. А когда Юзас запряг своего гнедка и привез их к себе на Кайрабале, то каждое утро приветствовали его доверительным кудахтаньем рябая с хохлаткой, а петух тянул свое «ку-ка-ре-ку» на шестке так, что звон разносился на целую версту, и пеструха мычала, высунув голову из дверей хлева, а жеребец стучал копытами по кормушке. Не притерпелись еще на новом месте, не обжились, но уже начинали привыкать. И Юзас, встав поутру да покормив всю ораву, думал, что, может, и многовато у него всего в доме, на островке Кайрабале. И каждый раз улыбался, что столько голосов теперь на его острове, что такая жизнь пошла.

Дни становились все длиннее и теплее, стремительно выходила мерзлота, к земле уже можно было подступиться с лопатой и лемехом, и однажды утром Юзас, поплевав на ладони, отправился копать колодец. Место выбрал заранее. Отменное место: ниже избы в сторону Павирве, чтобы вода не переводилась и чтобы из окна колодец был как на ладони. Колодец должен быть на виду, это Юзас знал. И сруб заранее приготовил из отборного клена и камней набрал, сколько требуется. Так что сбросил тулуп с плеч, повыше сдвинул со лба шапку и взял в руки лопату. Поначалу желтый песочек сыпался, потом пошла земля потемнее, а еще глубже — серебристо-голубая глина. Юзас швырял вверх лопату за лопатой. Остановился лишь, когда лопата ударилась о что-то жесткое. Наклонился, посмотрел, а там человеческие кости рассыпаны, череп в сторону откатился, смотрит на Юзаса темными глазницами. Юзас снял шапку, перекрестился, молча постоял. Кости глиной облипли, не очень-то разберешь, где какая. Долго в земле пролежали. А среди них, среди этих костей, то в одном, то в другом месте гнилые лоскуты серого сукна. Юзас вспомнил: в таком сукне ходили солдаты русского царя. Может, и здесь такой солдат? Еще раз посмотрел, перекрестился опять: точно, кости русского в яме лежат. Холодная испарина проступила на лбу. Юзас смахнул ее тылом ладони и выбрался из ямы: кости человека тронул, надо их похоронить.

Доски нашел у новой избы, оставшиеся от потолка. Хотел было позвать столяра из деревни, но передумал: не стоит давать повода для сплетен. Сам собьет гроб. А поскольку не привык к такой работе, то несколько досок испортил, пока не сколотил из шести досок ящик — не продолговатый, четырехуголь-

ный. Выстлал его холстиной, что дала невестка, да положил под холстину стружек, чтоб все было как полагается.

А когда притащил гроб к яме и стал, крестясь, перекладывать кости, то увидел, что их вроде и больше, чем положено одному человеку. Растерянно огляделся, а тут еще череп лежит. На дне ямы. Юзас снова перекрестился, опять смахнул со лба испарину. И тогда только разобрал, что в земле лоскуты не только серого сукна, но и темно-синего, кое-где еще с оторочкой белой. В этой яме, надо думать, солдат германского кайзера улегся рядом с русским. Юзас долго стоял в нерешительности. Два мертвеца, значит, и гробов нужно два. А гроб-то один.

Юзас выбрался из ямы, пошел второй ящик из шести досок сколачивать для германца, но остановился с топором в руке: гроб-то он сколотит, может, и не хуже даже, чем русскому, но как узнать, кому из мертвецов какая кость принадлежит? Пока человек жив, кости у каждого, конечно, отдельно, а когда не стало человека, когда улегся он вместе с другими да еще столько пролежал, что все кости перемешались да землей облипли, то как различишь, которая кость русская, а которая германская?

Так пораскинув мозгами, Юзас разобрал свой ящик, прибавил по одной доске сверху да снизу и сбил опять. Теперь гроб уже стал не гроб, а скорее, колыбель, когда бог дает двойню, а то и тройню: хватит места, чтоб улечься не только вдвоем, но и втроем. Даже улыбнулся Юзас, когда все так устроилось. И тут же ему пришло в голову, что кости, как ни верти, не простых людей, не близнецов с одного хутора, а русского и германца. Как же им лежать в одной колыбели-то? Оба в этих местах воевали, чего доброго, и застрелили друг друга, а теперь вместе? Юзас пошел в избу, принес еще одну холстину и расстелил рядом с первой на дне гроба. Помогали ему лоскуты серого и синего сукна: какая кость поближе к тому или другому лоскуту, ту русскому или германцу и отдавал. Распределив все по справедливости, Юзас аккуратно загнул края каждой холстины и накрыл останки обоих солдат. Управившись с этим, выпрямил спину, чтобы приколотить крышку гроба, и показалось ему, что в гробу лежат уже не двое, а только один солдат. Так смиренно лежат, словно это не русский да германец, а родные братья.

Юзас постоял у закрытого гроба, забил его гвоздями и снова взял в руки лопату: гроб-то уже не тот, не поместится в прежней яме. Надо расширить ее, чтоб аккуратно лег. Но едва воткнул лопату, как снова она ударилась о что-то твердое. Даже лязгнула. Холодок пробежал по спине Юзаса. Неужто еще один?! Но тут Юзас ошибся. Не кости здесь оказались, а только винтовка. Облипшая глиной, заржавевшая. И когда Юзас потянул за дуло, отложив в сторону лопату, то увидел, что не одна здесь винтовка — две, а когда вытащил вторую, то под ней оказалась еще одна. Целых пять винтовок выдрал из голубоватой глины Юзас. И патроны валялись — с гильзами, заросшими пушистой зеленью. Юзас долго стоял на краю ямы. Не хотелось даже брать

лопату в руки. Как знать, на что опять наткнешься? Может, и на том месте, где сейчас стоишь, у тебя под ногами лежит кто-то? Может, на всем его холме нет места, где бы никто не лежал? И не только на его холме, а на всех полях, на всей земле некуда ткнуть лопатой, чтобы не удариться обо что-то? На всей земле. На всей земле под ногами у живого человека кто-нибудь да лежит.

Нескоро взялся Юзас за лопату. Заколоченный гроб стоял перед ним. Разве здесь место для гроба? Место гроба — в земле. Юзас покачал головой и снова взял лопату в руки.

Целый день он ухлопал на это дело. До густых сумерек.

Назавтра Юзас стал рыть второй колодец. В другом месте, никуда не годном, за избой, почти на берегу болота, и колодец этот можно было видеть лишь из крохотного оконца чулана. Юзас знал: скверная будет в нем вода, горькая, кислая от корней багульника, но где другое место-то найдешь? Копал и вздрагивал при каждом ударе лопаты — не лязгнет ли опять? Но здесь был только песок. Лопата вонзалась в землю, как горячий нож в масло, и Юзасу не пришлось долго копать. А потом опустил в яму и деревянный сруб, накрыл его дощатым навесом, чтоб не сыпалась всякая труха да воду не портила, чтоб жучки не заводились. Устроил над срубом и ворот, чтоб вытаскивать ведро на цепи. Не журавель, как у других, а ворот. Журавель очень уж скрипит на ветру, раскачивается, будто призрак. Хорошо, если колодец в ложбине, но тут-то ведь холм, которого не заслонят заплаканные сосенки, днем и ночью гуляют по нему ветры. Ворот здесь будет в самый раз. А чтобы сруб да ворот на двух вкопанных в землю стояках держались покрепче, обложил их камнями, глубоко вдавливая каждый из них в грунт.

Работа была кончена. Юзас подождал, пока осела муть, и набрал первой воды из своего колодца, попробовал прямо из ведра, накренив его на срубе колодца. Да, невкусная была вода. Пахла илом, отдавала чем-то кислым и горьким. Правильно опасался Юзас. Не повезло ему с колодцем.

Работа подгоняла работу. Юзас оглянуться не успел, как увидел однажды утром, что изба уже готова, с окнами и дверьми, и хлев уже стоит, и санный сарай рядом со старым, покосившимся, да и бревен осталось столько, что на целый дом еще хватит. И тогда стрельнуло Юзасу в голову: не срубить ли еще баньку? Один-то он один, но ведь и в одиночку надо венником себя похлестать да живность из исподнего встрясти. Неужто побежишь каждый раз полем да станешь просить соседей пару одолжить? Пар свой должен быть. И банька своя. С каменкой, с котлом для кипятка, с полками вдоль стен и жердочками под потолком, чтобы живность морить, где воздух как огонь и только человек может выдержать, а вся прочая тварь тут же протянет ножки. Упадет на раскаленные камни и сгорит с шипеньем. Вот и пошел Юзас к Павирве, медленно несущей свои воды, долго выбирал для баньки место. Берег у Павирве топкий,

не подойдешь, придется строить поодаль, а рядом с банькой пруд выкопать да воду из Павирве в него пустить: пускай втекает туда и вытекает. Юзас снова взялся за топор, принялся тесать первый венец бани. За этим занятием и нашел его Адомас, соскучившийся по брату.

— Где это ты колодец соорудил? — остановился он как вкопанный. — Как проберешься к нему через сугробы зимой-то?

Юзас ничего не стал объяснять. Раз выкопал, то и выкопал. Да и стоит ли рассказывать о мертвецах Адомасу? Работали братья весь этот и весь следующий день, а когда Юзас снова остался в одиночестве, то увидел, что не выходят у него из головы те солдаты. Которые вдвоем в одном гробу лежат. Не выходят из головы и пять винтовок. Юзас не закопал их вместе с костями, а почистил одну, меньше других поврежденную ржавчиной, натер заячьим салом, чтобы больше не ржавела, и сунул в чулан. А остальные четыре отнес на болото и швырнул в первое же окно. Теперь, думая об этих солдатах да винтовках, Юзас вспомнил, как пришли в Литву русские, которых ихний царь прислал сюда воевать, и как потом гнались за ними по пятам германцы. Гнались и стреляли. И русские стреляли, оборачиваясь на бегу, вся округа дрожала тогда от этой пальбы. А потом и германцы бежали отовсюду, а им на пятки наступали какие-то неизвестные, одетые не по-солдатски, а кто во что горазд, да и винтовки у них были с дулами разной длины, висели на веревках через плечо.

— Красные пришли, — говорили люди.

Но и красные долго не задержались. Появились другие. Эти не шли, а ехали верхом, тоже стреляли, стрекотали из пулеметов. Тоже в пестрой одежде и с разным оружием, даже войском их не назовешь, пожалуй.

— Пришли литовцы, — говорили люди по деревням. — Теперь литовская власть будет.

Пришли и задержались, никуда больше не бежали, да и за ними никто не гнался. И жизнь стала тише, скоро уже казалось, что никто вроде и не ходил здесь, не стрелял, тихо было испокон веков. Люди пахали поля, сеяли рожь, платили налог, чинили дороги, вырастив, отдавали сына в армию. Была власть, а когда есть власть, то и налоги есть, и дороги, и сыновья в армии — так положено при власти.

То же самое думали многие. Юзас тоже. А еще думал он, что правильно сделал, перебравшись жить на Кайрабале. Знал сам и от соседей не раз слышал, что, кто бы ни шел через Литву, желтый, серый или белый, все по деревням да по хуторам топал, где легче ему пройти или верхом проскакать да еще взять задарма что требуется, чтобы идти или скакать дальше. Вот оно как. А Кайрабале все обходили стороной. Никто не помнил, чтобы хоть один из проходящих или проезжающих заглянул на это болото. Значит, Юзас сможет жить здесь спокойно. Все стороной, всегда стороной. Винцюне и та стороной обошла Юзаса. Как все. Ну и пускай идут себе стороной. Ему никто не нужен. Один он на своем болоте. Пускай.

Не очень-то долго Юзас тешил себя такими мыслями. Все в голову лезло; как же, если все и всегда стороной, то откуда эти двое? Кто их ухлопал, кто зарыл на холме вместе с пятью винтовками? Да еще не с двумя, а с пятью, хотя солдат только двое. А может, и не двое? Может, сколько винтовок, столько и людей лежит в земле? Только тронь ее... Но раз так, на самом деле так, то, может, только кажется, что обходят Кайрабале стороной, никто до Кайрабале не доходит? Как знать, проживет ли он один, Юзас, на Кайрабале?

Даже с постели вскакивал ночью, до того иногда ему становилось тревожно. Выходил во двор, долго пыхтел трубкой, усевшись на лавочке под окном новой избы. Скверно спалось Юзасу. Погода стала совсем уж весенней. Пахло смолистыми бревнами стен, пахло можжевельником, растущим вокруг нового дома, мхом, илом речушки. Густой белый туман поднимался над Кайрабале, на рассвете отделялся от болотных окон, беззвучно проплывая над верхушками деревьев вдаль, в поля. В хлеву бил копытом жеребец, мычала пеструха, блеяли овцы. Все подзывали его, хозяина. Юзас только плечами поводит. Пора было начинать новый день.

6

Прилетели из теплых стран утки да гуси, крикали да гоготали сейчас по всему болоту. Курлыкая, появились журавли, затрещали бекасы, в кочкарниках захлопали крыльями чибисы, заладили свою песенку: «Живы, живы!..»

Пришла на Кайрабале весна.

Проснувшись, Юзас спешил к Павирве с мылом и полотенцем в руках. Умывался по пояс, как сызмальства приучил его дедушка Йокубас. До красноты растирал спину, бока, грудь шершавым полотенцем. Тело так и горело. Покормив скотину да сам перекусив на скорую руку, снова брался за работу.

А работы было видимо-невидимо. Возле дома развел огород, на той стороне холма корчевал можжевельник, собираясь сеять здесь лен. А на берегу Павирве ждали ивняк да ольшаник. Самое время корчевать да вырубать корни, чтоб не проросли опять. Возле речушки суглинок, картошку, конечно, тут не посадишь, пшеницы на пироги не вырастишь, но разве картошкой единой жив человек? Можно щедро сыпануть вики да сладкого люпина — отменные корни у этих трав, нужные для земли вещи копят в клубнях. Если вовремя запахать, пока травы еще зелены, земля после них другая становится. Можно тогда и ячмень посеять или пшеницу даже. Главное, начало положить. Хорошее начало. Как замесишь, так и выпечешь.

Даже отошал Юзас, а ладони пошли волдырями — в жизни с ним такого не было. Ссутулился, стали выпирать ключицы. Вечером, когда ложился спать, ныли все кости, будто не осталось в теле ни единого здорового места, а сон не спешил, не смыкал глаз.

Он не раз задумывался. О бесконечной работе своей и о многом другом. Как живое, всплыло перед глазами Юзаса лето, давно уже прошествующее. Он стоял тогда в березняке. И не один стоял. Рядом с ним Винцюне. Так близко, что Юзас вдыхал ее запах, улыбался и смотрел на нее. Играла гармоника, молодежь танцевала за песней, звенел смех повсюду, но Юзас видел только ее, Винцюне. И вздрогнул, когда она протянула руку и коснулась его щеки. Взяла да коснулась. Своей рукой. Даже во сне не снилось Юзасу, что может сделать она такое. Вот так, ладонью... Задрожал всем своим долговязым телом, ноги подкосились. Пожалуй, на колени бы опустился, но услышал голос Винцюне:

— А ты-то весь распаренный!

Поскольку он и впрямь распарился, танцуя польку не с кем-нибудь еще, а с ней, с Винцюне, и только с ней, то Винцюне приложила ладонь и к другой его щеке. Мурашки так и забегали по спине. Юзас стоял, затаив дыхание, и смотрел на нее. Ничего больше, просто стоял и смотрел. И видел ее. Всю видел. С головы до ног. Высокая, как раз в пару ему, ладная, с тугими косами, змеящимися на спине, такая она была. Юзас боялся даже улыбнуться ей, даже поднять глаза на нее. Сам не понял, как вытолкнул слова:

— Выходи за меня.

Винцюне посмотрела на него, словно увидев впервые, фыркнула, а потом расхохоталась. Весело и звонко. Она всегда звонко смеялась. Как ножом по сердцу. Отвернувшись, все еще смеясь, не сказала ни слова, ушла прочь. Сомкнулись за спиной у нее листья березок.

Юзас остался один. Ни жив, ни мертв.

Сколько раз видел ее потом в поле за работой, в городке у костела или в этом же березняке, где каждый воскресный вечер собиралась молодежь, она, Винцюне, каждый раз смеялась ему в лицо. Смеялась, да и только. Даже не останавливалась при этом, даже не смотрела на него, просто смеялась, проходя мимо. А потом и смеяться-то перестала. Не замечала его. Проходила мимо, словно и не человек он, а пустое место.

Почернел Юзас лицом от всего этого.

И тут разговоры пошли по деревням да хуторам, что звенят бубенцы сватов под окнами Винцюне и что ни перед одним из сватов не открыли ворот, все вернулись, с непечатой бутылкой в кармане да с бранью на языке. А распахнулись ворота только перед Миколасом Стонкусом из Пуожаса. Юзас знал: земли у Стонкуса два надела, а то и целых три, весной он нанимает уйму батраков, постройки из смолистых сосен, в закромах и зимой и летом не доберешься до дна — хозяин, каких мало в волости. Да и сам жених недурен собой. В добротных сукнах с головы до ног, высокий, косая сажень в плечах, брови чернее ночи, а глаза под ними так и горят огнем, как у чистокровного жеребца. Девки в нескольких приходах таяли от одного вида его. В костеле во время обедни не в молитвенник смотрели, а на мужскую половину, где стоял он, Стонкус, выставив вперед правую ногу.

В долгие зимние вечера у каждой замирало сердечко, каждая льнула к темному окну: а вдруг да примчится с бубенцами?

И ни одна не дождалась.

Дождалась Винцюне.

А когда Юзаса вместе с Адомасом и Уршуле пригласили на свадьбу, он увидел: склонила Винцюне голову на плечо Стонкусу, а сама так и цветет, так и сияет. Словно и не танцевала с ним, с Юзасом, в березняке, и ладонью щеки его не касалась, и не говорил он ей: «Выходи за меня». И Юзас понял: это уже конец всему. Молча встал из-за стола, шел по молчаливым полям один, никому не нужный. А добравшись до дома, улегся на сеновале и проглядел на темные стропилины сеновала, пока не зачирикали воробьи да не забрезжило утро...

7

Вырос лен у подножия холма. И картошка уродилась. Конечно, не такая, как надеялся Юзас: мелкая, редкая, с зеленцой. Но уродилась-таки. Первая картошка на Кайрабале. Юзас выдергивал лен, теребил его возле избы, крепко привязав к козлам, потом опускал в мочило. Мочило он уже успел выкопать возле Павирве, пустив из речушки в него воду. Лен мокнул, вонял чем-то кислым, вода в мочиле стала бурой, густой, и Юзасу теперь по утрам приходилось умываться повыше, там, где Павирве только выглядывала из-под мха и где вода была еще чистой. Даже баньки не мог растопить, пока мочило занято льном. Управившись со льном и с картошкой, Юзас принялся за чердак. Укладывал на потолочных досках высушенный мох, посыпал белым песочком, чтобы в лютые морозы тепло не выдувало из избы. Печь он тоже успел сложить и теперь каждый день растапливал, нагревал, запасая тепло на много лет вперед. Ведь не на один денек он сюда приехал жить. За работой Юзас прикинул, что по санному пути придется завозить глину. Много глины. Когда он смешает ее с песком, земля станет другой. Будет держать влагу, в летнюю жару поить картошку и хлеба, иным станет зерно в колосьях, иной будет картофелина. Зимой полежит глина, а весной он разбросает ее в поле и запашет. И не только для хлебов да картошки, но и для сада, который тоже надо разбить, а то какой хутор без сада? Посадит за избой хорошие саженцы, а по краям пустит вишеник. Есть такая знаменитая вишня родом из Жагаре: низенькая и от человека ничего не требует, а ягоду дает сочную и сладкую. Пускай себе цветет весной вишня. Белым, будто снег, цветом. А когда яблонька или вишенка при доме, то и дом уже совсем другой, настоящий, обжитой. Того гляди, и пчел можно заводить. Того гляди, и пчел!..

Юзас улыбнулся представив себе такую красоту. И тут же подумал, что перво-наперво посадит вишни над могилой, где лежат эти двое, русский и германец. Хорошо, когда над могилой вишня. Они лежат, а вишня себе цветет. Когда приходит весна, птицы поют, комары водят хоровод, жужжат шмели в цветах

вишни, тогда уже, считай, и весна настоящая. А они пускай лежат под вишней. Пускай.

И, отложив другие работы, Юзас притащил на себе глины для этих вишен над могилой. Сам не знал, не очень-то и понимал, почему так поступает, почему начинает с вишен, но сделал. И ямы выкопал, глиной края выложил. Осенью он посадит здесь вишни, а остальной сад... остальной сад разведет потом. Для сада по санному пути привезет глины. На себе столько не притащишь.

Юзас прикинул, что перегной можно хороший с осени приготовить. Отчего бы нет? Торф — рукой подать. Смешает с черноземом, доставив его тоже по санному пути, теплой навозной жижей польет, вот тебе и перегной. А такая штука для песочка — что сало для блина.

И опять улыбнулся Юзас: все идет на славу. Одна только тяжесть на сердце оставалась: крест дедушки Йокубаса над мостиком через Павирве. Пообещал тогда Адомасу вырезать нового Иисуса, не забыл, но и не выполнил, за работами все не мог времени выкроить. А обет остается обетом: или не давай, или, раз уж дал, выполняй. Еще маменька, вечный ей упокой, говаривала, что человека, может, и обманешь, а вот бога никогда. Никто на свете еще бога не обманул. И в костеле Юзас не раз на проповеди слышал, что обет — вроде молитвы, дело священное и ненарушаемое.

Слышал об этом Юзас и знал назубок, но обет перекладывал со дня на день. Все утешал себя: может, осенью, когда с работами в поле управится...

А тут и пора собирать клюкву настала.

Однажды утром Юзас услышал, что звон стоит на болоте. И не от птичьей песни или звериного рыка, а от людских голосов. Запрудили Кайрабале люди. Женщины, дети, даже мужчины. Вроде и не бывало раньше так. До германской поры невалили людитолпами на болото, как сейчас. Приходила какая-нибудь бобылка, набирала корзину клюквы, и хватит с нее. А с зажиточных хуторов ни одна женщина ногой сюда не ступала. Но, когда заявились эти нежданные и никем не званные гости — германцы, когда подчистили дворы да закрома, не оставив даже крошек для ребятишек, когда стали шататься зубы у старых и молодых, вспомнили и про Кайрабале: где же ягодка-клюквата? В кружки собирали, корзинами да мешками тащили, дома варили, а то и сырую, толкушкой раздавив, уплетали с картошкой, убереженной от германца, или с коркой хлеба, в котором больше толченой древесной коры, чем ржи-матушки. Так и уберегли зубы, благодаря этой ягодке германскую пору пересилили. Германцы пропали так же внезапно, как и накатили, в домах появились хлеб и не только хлеб, но про клюкву никто уже не забывал. Едва только осень, глянь, и валит народ со всех сторон. Толпами, стайками и поодиночке. И уже не кружками или корзинами; а на возах домой волокли, и не только варили целыми чугунами, но ссыпали на чердак в чистый песок, чтоб всю зиму под рукой была на похмелье, от угара или чтоб засунуть по одной ягодке в ухо от головной боли да от помутнения глаз.

В беде человек всегда ума-разума набирается.

Слушал Юзас в это утро голоса на Кайрабале, но сам на кочкарник не подался. Он-то уже успел набрать для себя клюквы, сварить да на чердак насыпать. Поэтому только слушал да смотрел, как сборщики опустошают Кайрабале. Многие то и дело бросали взгляд на него, на Юзаса. Очень непривычно для всех было, что поселился человек на болоте и сидит себе отшельником, будто францисканец какой-нибудь или доминиканец, из монастыря выпавший да к людям не попавший. И не просто сидит сиднем, а дым у него из трубы вьется, ягнята резвятся и пеструха на лугу да гнедок. Хозяйство справное и дом, как у людей. Нет, такого на Кайрабале сроду не бывало. Самые древние старики не помнят. Поэтому многие впивались взглядом в хутор Юзаса, пожимали плечами, а потом даже руками отмахивались, торопясь по клюкву, так и не заглянув во двор и не потолковав с Юзасом. А ну его!..

И Юзас увидел, что люди приходят и опять, наглядевшись всласть, уходят, но одна девка остается подольше: Чёвидисова Карусе. Стоит и смотрит. Смотрит. Каждый день так. Чего ей еще?

А Карусе с каждым днем все ближе и ближе подбирается к хутору. И настал такой день, когда она уже заглянула во двор, уселась на лавочке под окном. Поставила у ног корзину, сплетенную из белых сосновых корней, такую полную, что ягоды сыпались через край, поправила обеими руками волосы и громко позвала:

— Дядя Юзас!

Юзас тесал кол, поставив его на колоду возле хлева. Кольев требовалось множество: ждала гать, для которой Юзас уже нарубил целую кучу хвороста, а вот кольев для нее еще заготовить не успел. Тесал Юзас так, что щепы разлетались в стороны, и едва не уронил топор, услышав голос Карусе. Первая, первая появилась на его холме! Ну, может, не совсем первая. Адомас был здесь несколько раз. И Уршуле тоже. Но это свои. А чтоб кто-нибудь из чужих — нет, ни одного. Юзас крепче сжал топориче, повернулся, молча глядел на гостью. А та поднялась с лавочки, вся пунцовая, с белой корзиной у ног, и до того растерялась, что глаз не смела поднять.

— Дядя Юзас, — пролепетала. — Дядя Юзас, а может, вам ягод некому набрать?

Юзас как встал перед ней с колом в одной руке да с топором в другой, так и застыл, не в силах ни слова вымолвить.

— Дядя Юзас, может, тебе и варенья сварить некому?

— А тебе очень надо?

Сказанул Юзас и тут же увидел: глаза Карусе полны слез. Как тогда, на свадьбе Адомаса и Уршуле, когда он пригласил ее танцевать.

— Я только хотела... — почти плача, сказала Карусе. — Хотела, ну хоть чем-то тебе...

Слезинки покатались по щекам Карусе.

— Дядя Юзас... ничего ты не понимаешь!

— Жми домой, — сказал Юзас, — Ягод набрала полную корзину, вот и жми.

Побелела Карусе от этих слов. Слез как не бывало. Губы крепко сжаты. И посмотрела на Юзаса так, что тот не выдержал, отвернулся.

— Есть у меня ягоды,— сказал. — Сам набрал. Все я сам. За доброту спасибо, но не стоит.

Карусе схватила корзину, рывком надела на плечо, ягоды полукругом посыпались на песок двора. И ушла прочь, мелькая красными, исцирканными вереском икрами.

Юзас снова взял в руки кол. Тесал, пять или шесть кольев затесал, а потом ни с того ни с сего загнал топор в колоду и стал огромными шагами мерять двор.

И остановился посреди двора — тоже ни с того ни с сего. И посмотрел туда, где пропала Карусе. Мимо воли посмотрел.

— Леший... леший ее сюда принес!

А на завтра работа валилась из рук. Куча кольев лежала, еще неотесанных, хворост для гати топорщился горой, но руки не брались за работу.

Кайрабале снова кишело людьми. Как вчера. Как позавчера. Как каждую осень. Аукали люди, кричали.

Карусе не появилась ни на другой, ни на третий, ни на четвертый день, хотя Юзас и искал ее взглядом, забыв про неотесанные колья.

А потом увидел, что никто больше не приходит на Кайрабале. И журавли улетели на поиски тепла, и гуси с утками подались вслед за ними. Тихо стало на Кайрабале. Тихо и пустынно. Он снова остался на своем острове.

Юзас огляделся. Не хотел он ни видеть, ни слышать людей. Пускай они сами по себе, а он сам по себе. Конечно, эта девчонка, Карусе эта, могла еще разочек прийти по клюкву. Было из-за чего нос воротить — из-за одного слова Юзаса. Ну, а раз так, то уж так. Раз не стало Винционе, то пускай и Карусе сама по себе, а он сам по себе.

Работы одна за другой ложились на плечи. Осень набрала силу, обожгла, обагрила все кругом — не узнать Кайрабале. День-другой, глянь, и подморозит, мороз скует трясину, из угрюмых туч посыплется снег, вот тебе и санный путь. Чтоб в городок съездить или за глиной — немного еще ее завезено. И чердак не весь застлан мхом, засыпан песочком. А полочки стоят в сенях: давно сколотил их, собирался повесить да не повесил. И можжевельные крюки в стену не вбиты для хомутов и прочей упряжи. И чулан за печкой... Начал его весной, как только настелили вместе с Адомасом крышу, а еще не готов, ни вещи туда не положишь, ни гостя не оставишь ночевать. И дрова не наколоты на зиму, и хворост не весь собран в кучи до заморозков. Работа не могла дозваться его. Просто за глотку брала. А Юзас и думать о ней забыл, не видел ничего. Бродил по двору, будто очумелый. Даже задумался как-то: что это с ним такое? За всю осень и сделал только, что достал два саженца жагарской вишни и посадил их там, где лежали эти двое, русский и германец, в одном гробу, но в отдельных холстинах. Посадил у них в ногах. Пускай растут вишенки. Хорошо, когда над могилой вишня.

Вишня-то цветет белым. Всегда белым. И на могиле это в самый раз.

Посадив вишни, Юзас отправился к сараю, взял давно припасенный липовый чурбак. Осмотрел со всех сторон, взял стамеску и, усевшись тут же, принялся за дело. Не очень-то знал Юзас, что выйдет из-под его стамески, и даже удивился, увидев, что сверху на чурбаке заострились колючки тернового венца. Посмотрел, помолчал, снова взял стамеску в руки. Стал вырезать теперь лоб Христа, а потом и всю голову, стараясь, чтобы она была чуть наклонена и Христос мог подпереть рукой подбородок. Много таких фигурок видел на своем веку Юзас. В часовенках у дорог и на кладбищах на деревянных крестах, в божничках, приколотенных к стволу дуба. И всюду у Христа голова склонена набок, и всюду он ее рукой придерживает. Не было другого Христа. Даже у тех, что не сидели в божничках, а были распяты на крестах, голова всегда склонена на плечо. Но у Юзаса голова не получалась. Держалась она прямо, будто врезанная в плечи, с какой стороны ни подступись к ней. А еще больше растерялся Юзас, когда увидел, что и с лица Христос — не очень-то и Христос. Лицо не художавое, какое должно быть, когда тебя снимают с креста на Голгофе, и глаза не закрыты, а смотрят прямо на него, на Юзаса. Смотрят из-под тернового венца, из-под густых бровей. Долго разглядывал Юзас эти брови. Кустистые сросшиеся брови. Да еще волосы у Христа. Чуть ли не до плеч. Просто косы распущенные...

Юзас встал в холодном поту. Прошелся по двору, вернулся. Еще раз посмотрел на творение своих рук. Молча взял фигурку и повернул лицом к стене.

На завтра Юзас снова взял в руки стамеску, отыскал новый липовый чурбачок.

Но и теперь дело не пошло. Колючки тернового венца только-только прорезались, а Юзас уже понял: получится то же самое. Вот он и отставил чурбачок в сторону и долго смотрел на него, на этот терновый венец.

В ту ночь Юзас не сомкнул глаз. Лежал в кровати в избе, а за стенами луна обливала своим холодным серебром хутор и все болото. Беззвучно лилось это серебро, а казалось, так звенит оно, словно играет вдалеке орган.

Юзас не выдержал. Набросив на плечи тулуп, вышел во двор, уселся на привычное место — на лавочку под окном избы. Светло повсюду, голубеет все вокруг. Перед глазами белеют липовые чурбачки, повернутые лицом к стене, с торчащими колючками. Будто привидения, неизвестно откуда явившиеся да здесь почему-то оставшиеся. Даже вздрогнул Юзас от белизны этих фигурок. А луна плывет по небу. Плывет себе да плывет. Юзас посмотрел, задрав голову, и сразу вспомнил, как маменька, вечный ей упокой, поговаривала, что стоит там, на луне, ангел-хранитель, расставив руки, благословляет людей на добрые дела, оберегает от дурного, от блуда, от греха и прочих напастей. А дедушка Йокубас смеялся над этими словами маменьки и ворчал, что ангел-

хранитель, как и прочие ангелы, хранители и не хранители, все до единого в рай отправились, давно порхают там в белом тумане, а на луне стоит баба с коромыслом, сгорбившись под тяжестью ведер, как все бабы горбятся, когда волокут горе свое и воду. Маменька, вечный ей упокой, гневалась на дедушку Йокубаса за такие греховные речи, просила хоть при детях помолчать, а дедушка призывал ее взглядеться получше: только баба с коромыслом, ничего больше на луне нету, да и не было никогда.

Маменьки уже нет в живых. Много лет как нету. И дедушки Йокубаса нету. И отца. Все покоятся в земле. И эти двое лежат рядышком, чуть ли не под окном избы. Солдаты царя и кайзера. А луна плывет себе да плывет. Словно и не жил на свете дедушка Йокубас, словно не было маменьки, отца и этих сложивших головы за царя и кайзера. Словно никого не было. Плывет себе да плывет...

Юзас встал. Крепко надавил ладонями на глаза. Что же это такое? Почему тревожно, нехорошо ему?

8

Над болотными окнами загготали гуси. Прилетели они. Уже прилетели. Скоро появятся и утки. И журавли, курлыча, вернутся клином домой. Снова шла весна. Новая весна на Кайрабале. Скоро зацветет багульник, и от его запаха далеко вокруг станет терпким воздух, и росянка станет подстерегать зазевавшуюся мошку или комарика, и осока потянется ввысь острыми, будто бритва, листьями, а вахта взлелеет в тени березок цветы...

Юзас встряхнул головой, остановился посреди двора. Сам не зная, что делает, отправился к Павирве, разделся донага, положив одежду на еще обледевшую кочку, вошел в воду, холодную, будто огонь, а потом стал брать горстями снег, уцелевший в тени ивняка, и вытирал лицо, шею и грудь. Покраснел, побагровел весь, словно и не в Павирве, а в жарко натопленной бане был. А потом уже в избе, отбивая дробь зубами, долго и со злостью вытирался грубым пакляным полотенцем, косясь на осколок зеркала, пристроенный рядом с окном. Надел, взяв из сундука, новое исподнее, что сам выстирал и отбил вальком, взял бритву и принялся скоблить щеки, которых лезвие не касалось чуть ли не с сочельника. А когда управился с этим делом, порезавшись с отвычки, то и кровать застелил свежим бельем, а сам отправился разводить щелок, чтобы постирать все снятое с плеча и с постели.

Солнце было уже высоко, когда Юзас уселся завтракать. Чистый, оживший, как бы проснувшийся от зимней спячки. Откусил хлеба, и кусок застрял в горле, а Юзас почувствовал, что по щеке катится слеза. Большая, тяжелая, никому не нужная слеза. Юзас перестал жевать. Облокотился на столешницу. С похорон маменьки ведь не плакал. А тут вдруг! И с какой стати?..

— Юзас! Жив ли? — услышал на дворе голос брата Адомаса.

Юзас встал из-за стола. Смахнул рукавом слезу. — Тебе чего? — без радушия встретил брата, вошедшего в избу.

Адомас посмотрел на Юзаса, остановился на пороге. Потом шагнул дальше, не спеша уселся на лавку. Достал курево, протянул брату. А брат не смотрел на него.

— Какая муха укусила? — спросил Адомас.

— Чего тебе?

Адомас рассмеялся. Негромко, без злости. Был он весел. Даже принарядился, словно собрался на храмовый праздник.

— В кумовья звать пришел, — сказал. — Оба с бабой моей зовем, не один я.

— В кумовья? — переспросил Юзас. — Ребенок-то чей?

— Как чей?

— Ребенок чей?

— Как так чей?

— Раз в кумовья зовешь, то чей?

Адомас уставился на брата.

— На ухо тебе корова наступила или молнией долбануло? Говорю, в кумовья звать пришел. Мой ребенок. Моя жена родила, понял?

— Это теперь говоришь, сперва не сказал.

Адомас развел руками, крепче затянулся дымом.

— Родила, Юзас. Первенца мне родила. Адомасом и окрестим. Отец был Адомас, я Адомас, пускай и мой старшенький будет Адомасом. А раз уж такое дело, то как без тебя?

Юзас сидел, повернувшись боком к брату.

— Крестная кто?

— Крестная? Хорошая будет у тебя кума, Юзас. Сама Чевидисова Карусе!

У Юзаса так и упало сердце. Карусе! И эта ее корзина, полная красных ягод. Корзина из белых сосновых корней у ног. Икры, исчирканые вереском, горящие, будто огонь, когда она уходила прочь. Ушла и не появилась больше на Кайрабале.

— Эта соплячка? — проворчал он.

— Какая она тебе соплячка! Девка что надо. Никак давно ее не видал?

— Хуже не мог найти?

— Вот ты как запел! — уставился на него Адомас. — Если по правде, то и я не очень-то хотел, но разве бабу переспоришь? Заупрямилась: Карусе да Карусе, чтобы другой не было. И самой Карусе сразу же сказала, а та уже и растаяла, готова хоть в огонь, лишь бы только с тобой. Как теперь по-другому сделать? Ты уж меня не обижай, Юзас.

Юзас не говорил ни «да», ни «нет». Сидел рядом с братом, опустив глаза. Адомас хмыкнул, собираясь с духом.

— Юзас, — окликнул он.

— Ну? — не шелохнулся брат.

— Не мое это, конечно, дело, и не мне тебя учить, только вот обидел ты Карусе. Чем это ты ее, а?

— Много говоришь, — пожурил брата Юзас.

— Да не очень-то много, Юзас. Девка просто помешалась. А может, говорю, ты и впрямь с ней это?..

— С соплячками не связываюсь.

— Так почему в кумовья с ней не хочешь? — не сдавался Адомас.

Юзас помолчал, спросил:

— А чем Уршуле плохо?

— Почему Уршуле?

— Чем плохо кума? Может, потому, что сестра? Позвал бы ее с этой глистой из Грикапеляй, и все тут.

— Уршуле?! Да разве я тебе не сказал? Уршуле сама крестит. Только не сына, а дочку. Не удался ребенок у нашей Уршуле. Неужто не говорил?

— Только теперь сказал. Путаник ты сегодня, Адомас. Когда же она успела?

— Уршуле-то? Никак забыл, ведь обе свадьбы разом играли. Все лето прошло, осень, зима на исходе, сколько надо времени, чтоб ребенка заделать?

Юзас ничего больше не сказал. Сидел все так же боком к брату.

— Скоро опять кумовья понадобятся, — продолжал Адомас. — Я бабу привел не для того, чтоб баклуши била. Мне детей нужно много, Юзас. Чтобы не было, как сейчас: одна в Грикапеляй, другой на Кайрабале, а ты сиди себе один как перст.

Юзас повернулся к брату. Впервые видел его таким разговорчивым.

— Много говоришь.

— Правду говорю, не ленюсь. Ничего не ленюсь делать теперь, Юзас. Отленился, сколько надо было, и все тут. Так что же сказать бабе о кумовстве? По рукам или нет? Иначе баба мне глаза выцарапает. «Без Юзаса не возвращайся!» — вот что она сказала.

Адомас опять рассмеялся.

— Ну так как?

— Раз надо, — сказал Юзас.

Адомас собрался было уходить, стал искать шапку, брошенную на лавку.

— Вот спасибо, вот хорошо, Юзас. И Карусе обрадуется! Теперь я уже пойду, пойду домой. Солод проращиваю, приглядеть надо, ну и овцу еще зарезать, и муки для пирогов намолоть.

Адомас встал, пошел к двери, но не дошел-таки. Вернулся к брату, уселся рядом. А Юзас по-прежнему не шелохнется.

— Юзас, — сказал Адомас.

— Ну?

Адомас достал из кармана курево, протянул брату. Тот не взял, даже не поглядел на папироску. Адомас закурил сам.

— Юзас, — проговорил, затянувшись дымом, — а ты, Юзас, ты-то сам не собираешься? Не подумывал?

— И не лень тебе говорить.

— Ты не сердись, я как брат брату. У женатого иная закваска. Отчего бы тебе не жениться?

— Квасься себе на здоровье.

— Ты не сердись, Юзас. Я прямо говорю: один разве проживешь? Без женщины? Потом ведь и старость придет, начнутся всякие немощи, ковшика воды никто не подаст, чабреца не заварит. Ты подумай. Девочек теперь полным-полно, только не ленись выбирать. Чего ждать-то? Хотя бы эта самая Карусе. Ты погляди на нее: соплячка-то она соплячка, а какая

баба из нее выйдет, что закачаешься. Помнишь мое слово!

Юзас медленно повернулся к брату, помолчал, потом сказал жалобно:

— Ничего ты не смыслишь, Адомас.

И снова отвернулся.

Адомас встал, виновато улыбнулся, зашагал к двери. Юзас молча глядел на него. Он весь как бы оцепенел, словно отвык двигаться.

Таким он стоял и в костеле в воскресенье, когда гремел орган, а рядом была Карусе, раскрасневшаяся, будто пион, и так ловко распеленала и запеленала она ребенка, словно не первого, не второго, а уже двенадцатого несла крестить. А за ними стояли кумовья Уршуле и этой глисты из Грикапеляй, этого Стяпонаса, и никак не могли унять орущую девчонку. Таким был Юзас и потом, за столом в доме брата, когда вокруг гомонили гости, а рядом с ним сидела Карусе, и впрямь уже не соплячка, а девка в самом соку, рослая, с крепкой шеей, выглядывавшей из голубой блузочки. Сидящие перед ними кумовья Уршуле и этой глисты из Грикапеляй этого Стяпонаса, тянули стакан за стаканом пиво и после каждого стакана целовались как шальные, а гости весело галдели да поговаривали, что скоро опять понадобятся кумовья, и все хохотали, а Карусе сидела пунцовая, уставившись в миску с бараниной.

— Юзас, не теряйся! — слышал он голоса. — Такая кума у тебя под боком, Юзас! Ха-ха!..

Юзас вздрогнул от этих голосов, посмотрел на Карусе. Та глядела теперь прямо на него, еще гуще зардевшись, и он снова увидел на ее глазах слезы, как тогда, на свадьбе Адомаса и Уршуле, и потом на Кайрабале. А Карусе, нежданно-негаданно, не говоря ни слова, вскочила, схватила Юзаса за отвороты пиджака и поцеловала. Прямо в губы. Так крепко поцеловала, что слышно было во всей избе, сразу же затихшей, и тут же сказала ему, Юзасу, на ухо, обдав его жарким дыханием:

— Думаешь, очень ты этой Винциуне нужен!..

Юзас отшатнулся от Карусе, а у той уже слезы высохли, она рассмеялась злым, трескучим хохотком, залпом опрокинула стакан пенистого пива. И люди вокруг загалдели вразнобой, а многие опять закричали, как тогда, на свадьбе Адомаса и Уршуле:

— Женится Юзас, женится! Карусе свое возьмет!..

Юзас опустил голову, набычился. Хотел было встать из-за стола, бросить все да уйти, как ушел тогда, с этой двойной свадьбы, но взял себя в руки. Слишком уж многим понравился бы его уход. Налил пива в стакан — резко, так, что пена хлестала через край. Выпил этот и налил следующий. И тут увидел руку Карусе, протянутую к нему с пустым стаканом.

— А мне? — попросила она.

Юзас растерянно налил ей пива, даже чокнуться позабыл, и протянутая рука Карусе долго висела в воздухе, а пена серела в стакане и оседала. Юзас выпил один.

Ушел он с крестин под утро, когда гости уже поределели, остались столы с залитыми пивом скатертями да объедками, с мясом и прочей снедью в мисках.

Карусе рядом с ним не оказалось. Опомнилась-таки соплячка!

Но, когда вышел из ворот, она выросла как из-под земли. Подбежала к нему и пошла рядом. С трудом переводила дух, словно прибежала издалека. Запыхавшись, сказала:

— Провожу.

Юзас протянул руку, оттолкнул Карусе. Не сильно, не чтоб обидеть, а только дать понять: провожать не надо. И прибавил шаг.

9

Юзас разбросал кучи глины, что свалил за зиму под холмом, запахал эту глину, смешал с супесью. Сажал картошку и сеял зерно. Он договорился со знаменитым садовником Раполасом из Скодиняй о саженцах яблонь для своего сада и о хороших вишнях — в придачу к тем, что уже посадил. Когда на Кайрабале снова придет осень, он посадит яблоньки за избой, а вишенки поближе к окнам, чтоб видно было, как они цветут по весне, зовут пчел к себе угощаться. Будут у него и пчелы, и не один, а с божьей помощью несколько ульев. Мало ли вереска вокруг, не цветет ли гречиха за Кайрабале? Коричневым будет мед, вересковый и гречишный, но все-таки мед. И для себя, и для доброго человека, если попадется такой. Если заглянет на Кайрабале.

Шло лето. Играло и пело болото с раннего утра, от рассвета до сумерек. А прохладным вечером, когда замолкали, притомившись, все эти коноплянки, водяные курочки да бекасы, горластые хищные сойки и желтопузые щеглы, кулики и пигалицы, их песню подхватывал соловей и заливался вовсю в кустах над Павирве так, что заснуть нельзя было от красоты.

Шло лето...

Налились живицей побеги сосен, затвердели стебли багульника, все ленивее бултыхались в воде черноспинные непуганые лини, нагулявшие за лето жир, будто поросята, поспели желто-красные гроздья рябины — провозвестники осени. Поэтому, смахивая тылом ладони пот, Юзас глядел, куда складывать снопы да ссыпать картошку, где развешивать для просушки лен, прикидывал, сколько осталось бревен, хватит ли для баньки или придется запастись новыми. Раз уж живешь, то как без баньки? Самые древние старики не помнят, чтоб у дома не было баньки. Строили поодаль, строили на несколько семей одну, если сами выдюжить не могли. Юзас уже и место облюбовал для нее у льняного мочила на берегу Павирве, даже первые венцы уложил, сейчас надо только подвести стены под крышу, склотить полки да каменку сложить из собранных в поле окатышей. Место и впрямь хорошее. Зимой ветер наметет здесь сугробы до самой крыши, вот и кидайся, распарившись, в эти сугробы прямо с полка и лежи, пока сугроб не растает до самой земли. Другим человеком встанешь со дна такой снежной ямы. А если зима не наступила еще, то Павирве под боком. Илистая, что греха таить, речушка, с топким дном, но после баньки хорошо и в нее, так

хорошо, что дай боже каждому. А больше всего думал Юзас о гати через болото к берегу, где начинается твердь и прямая дорога ведет в городок. Раньше Адомас малость помогал, оба хворост рубили, тащили на болото да складывали в кучи. И место, где гравий, оба нашли, и обещал он подсобить с телегой. Разве одному такое дело под силу? А теперь вот Адомас куда-то запропастился. Давным-давно носу не показывает. Правду люди говорят: женился человек — нету человека.

Ничего. Управится и один. Силенки есть, с другими работами покончит и примется за гать. Сделает. Все сделает. Перед сочельником уже и попарится в новой баньке. В своей баньке.

Так и успенье настало — день, когда положено освящать семена ржи. Пахари со всего прихода приносили в этот день в костел зерно со своего поля в мешочках из белого холста и складывали у бокового алтаря, а после обедни каждый отыскивал в куче свой мешочек с освященным уже зерном, дома смешивал с остальными семенами, а потом сеял и спокойно ждал нового хлеба и нового урожая. Всегда так было, сколько Юзас помнит. Иногда он и сам носил рожь по велению отца, как старший сын. Но чаще сам отец. В прошлом году у Юзаса не было своего зерна. Брал семена у брата — Адомас относил их в костел освящать. А в этом году он сам отнесет, как и все пахари в приходе. Первые свои семена.

Из костела придется заглянуть к Адомасу, потому что брат снова ошарашил его — явился приглашать на крестины. Какие еще крестины? Чьи? Откуда так скоро? Адомас только улыбался. Раз Юзас не верит, то пускай сам увидит, пускай только не обижает, придет. Кумовья-то будут другие: Улдукисы из Моцюнай, муж с женой. Но и его, Юзаса, ждут, брат все-таки. А вот Уршуле второго не наскребла. У нее крестить некого. Юзас спросил было, что случилось с Уршуле, но Адомас только отмахнулся, буркнул что-то непонятное.

Когда Юзас пришел к Адомасу домой, то увидел, что брат говорил правду: детей было уже двое — старший, крестник Юзаса Адомелис, карабкался из колыбели да пытался устоять на ногах, а малыш Юзукас, запеленатый крестной матерью в кружева, только жмурился от света. Ей-богу, не баклуши бить привел в дом жену Адомас.

А крестные, как говорил Адомас, были из Моцюнай, из родной деревни невестки. Крестная Она усе-лась за стол рядом с Юзасом. Румяная, дюжая, кровь да огонь. От первых стаканов пива распалилась еще пуще. Нарочно или нечаянно, но все льнула к Юзасу, все льнула.

— Когда же ты, Юзапелис? Так ли уж и не соберешься на своем болоте, в своей змеиной трясине? Ох, пора, ох, пора! Может, сосватать кого, а? — ткнула его в бок железным локтем, прищурив глаза. — У меня рука легкая!..

Хихикнула, взяла Юзаса за колено.

— Никак голоден, а?

Провела рукой выше, стиснула ногу Юзаса по-выше колена.

— А ты говори, не голодай. Есть это добро, только словечко молви... — прищурилась кума.

Юзаса даже пот прошиб. Сбесились эти бабы! Которая мне нужна, той я не нужен, а тут одна за другой. Пробовал отодвинуться подальше. Видел, что муженек кумы Повилас Улдукис, сидящий с другого ее боку, сосет пиво и после каждого нового стакана все зыркает на них искоса. Был этот Улдукис костляв, небольшого росточку, с жалобно тонкой шеей, еще не старый, но сквозь поредевшие волосы макушка уже сверкала коричневым. Одно слово, недоросток. И даже не багровел от пива, словно не в себя, а за шиворот его вливал. Юзас опять попробовал отодвинуться, но кума и не думала отпускать его ногу под столом. Одной рукой держалась, а другой опрокинула новый стакан.

— Знаешь, что моя маменька говаривала? — будто огнем обожгла Юзасу ухо. — Раз не знаешь, то скажу, только попроси!

И, откинувшись, захохотала.

За столами все потягивали пиво и говорили громко, и чем дальше, тем чаще то один, то другой вставал из-за стола, спешил за сеновал, а вернувшись, опять тянулся за стаканом, сразу же включаясь в разговор. Многие уже пели, а другие шли полюбоваться новорожденным, так счастливо уродившимся у Адомаса с женой, что и похвалить не жалко было. Окна распахнуты настежь, набежал подон двор детей, терпеливо ждущих пирога от кумы и мятной конфетки от кума.

Юзас сам не понял, как он вырвался из рук Улдукене. Вроде бы шел вместе с ней по саду Адомаса, потом даже по ольшанику, будто слышал чьи-то шаги за спиной, а огляделся — нет ни сада, ни ольшаника, ни Улдукене. Тихо вокруг, а он, Юзас, стоит посреди поля. Один. Без шапки. Кругом уже светает. Кончились все соблазны.

— Чертова баба.

Тащился по полям нога за ногу, буркнул еще раз:

— Чертова баба!

И сжалось сердце за ее муженька, за этого Улдукиса с тонкой шеей и восковой кожей головы под поредевшими волосами. Может, он и шел там, у них за спиной, этот недоросток, и, может, не первый раз уже идет так за своей шальной женой... Нет, ей-богу, чертова баба! Да и все бабы, видать, чертовы, увидели свежего мужика и сбесились. И Карусе, видать, такая же, хоть и не вылупилась еще, угловатая, глаза опущены. А может, а... может, и... Юзас вздрогнул. Остановился на дороге. Нет, вот это уж нет! Не может быть, чтобы Винцюне — как все! Вот это уж нет! И хорошо, и очень хорошо, что она теперь не здесь: то, что утратил, лучше в глаза не видеть. И еще хорошо, что она, Винцюне, подальше от этих всех... от таких...

Юзас долго стоял на дороге. Чем с такими связываться, как эта Улдукене из Моцюнай, лучше уж ни с кем дела не иметь. Лучше на Кайрабале, на этом змеином болоте, одному работой себя изводить. Вот

закончит гать, чтоб можно было доехать от островка до твердой земли, посадит яблоньки, вишенник под окнами... Очень даже хорошо, что Винцюне далеко. Очень хорошо... Весной уже зазеленеет молодой сад. Сад Юзаса. Хорошо, что Винцюне далеко.

В голове загудело у Юзаса от этих мыслей. Солнце успело подняться по небу, пока он добрался до дома. И сразу увидел: потрудились ночью заморозки, неожиданно ранние, первые. Забрызгали пеной пивной заросли крушины и ольхи по берегам Павирве и воздух прояснили так, что видно далеко-далеко.

Юзас вошел в избу, побрился перед осколком зеркала, умылся по пояс, вытерся шершавым полотенцем, и все пиво как рукой сняло. Со свежей головой взялся за лопату. Ушел к своим ямам.

Работал целый день, а под вечер увидел: приближается к нему староста Дуоба с длинным шестом в руках. Много лет он уже видел, как разгуливает Дуоба с этим шестом. Едва пришла литовская власть, он старостой стал и взял в руки шест. Ходил по дворам и лупил им собак так, что те с воем разбегались в стороны, а потом собирал у людей налоги, а если не за налогами являлся, то вручать повестки в суд или в армию для сына. Боялись Дуобы не только собаки, даже дети, увидев его, испуганно прятались за спины матерей, хотя Дуоба пальцем не тронул никого, только собак лупил. Уже сколько лет. И многие старики поговаривали, что нехороший, видать, человек этот Дуоба. Если собака или ребенок убегают от него, то человек как пить дать нехороший. Не может быть хорошим, раз оно так. И чего ему на Кайрабале-то?

Юзас воткнул лопату.

— Собака где? Собаку подавай! — поздоровался Дуоба издали.

— Забирай, если найдешь, — поздоровался и Юзас.

Дуоба даже не огляделся. Знал, нет в этом дворе собаки. Спросил только по привычке. Подошел и остановился перед Юзасом во весь рост. А был он не короток, вровень с Юзасом. И темный весь. Не только от рождения, но словно провел всю жизнь в курной избе. Под закоптелыми бровями почти не разглядишь глаз.

— Налоги на стол! — крикнул громко, словно не перед одним Юзасом стоял, а перед всем базаром.

— Давно лежат, — сказал Юзас. — Весной отнес.

— Знаем, как ты отнес! Болотные отнес и рад уже? А это что? — показал шестом на картошку, — Обрабатываемая земля, а ты болотные?

— На болоте сижу.

— Другому заливай. Не вижу я, где ты сидишь и где не сидишь. Мошенники вы все! Так и метит каждый казну ограбить! Кладешь на стол налоги или нет? По-хорошему спрашиваю!

— А к черту не хочешь? — без злости предложил Юзас. — Сам пахал да боронил, за что мне платить?

— В волости спроси. Власть тебе скажет!

— Много говоришь.

— Значит, на том и порешили. Там с тобой иначе поговорят. Сегодня же передам, что отказываешься платить, бунтуешь!

— А ты не спеши,— сказал Юзас. — Слышал я — поспешишь, кур насмешишь.

Дуоба посмотрел на него.

— По-хорошему и в последний раз: на стол или нет?

— А к черту очень хочешь?

Дуоба ушел. Не к черту, конечно, как предлагал Юзас, а в волость, и оттуда несколько дней спустя пришла бумага, что Юзасу следует явиться по поводу неуплаты налогов. А поскольку не явился он по первому вызову, то этот же самый Дуоба принес еще одну повестку, на которой было написано: если Юзас и теперь не послушается, то будет доставлен в волость с помощью полиции. Дуоба сам прочитал ему повестку вслух. Для верности. Был он в такой ярости, словно не у государства, а у него, Дуобы, Юзас украл налоги. Юзас выслушал, похвалил Дуобу за то, что он читает без запинки, и ушел копать картошку. Близился день святого Михаила, а кто не знает, что картошка, если оставить ее в земле после этого дня, не та уже картошка. Не разваристая. Если Дуобе это неизвестно, зато Юзасу известно. Такую картошку разве что поросенку, да и то не тому, что на мясо. Дуоба постоял, разинув рот от удивления, и ушел прочь, опираясь на шест.

Юзас думал, что это последняя его встреча со старостой. Но ошибся. Дуоба явился опять. И не один, а с судебным приставом, которого послал волостной староста, чтобы пустить с молотка «движимое и недвижимое имущество» Юзаса и взыскать с него налоги, злостно не выплаченные. Так было написано в бумаге, которую привезли эти двое, и судебный пристав тут же взялся за дело. Но не очень-то у него получилось. Народу, правда, набралось на Кайрабале не так уж мало. Мужчин, женщин и даже детей. Стояли все во дворе Юзаса вокруг стола, который сам же Юзас и вынес из избы по приказу старосты. Стояли и глядели на судебного пристава, как тот раскладывает на столе бумаги, а потом достает из кожаного портфеля деревянный молоток, стучит им по столу, выкрикивает цену каждого предмета из утвари Юзаса.

— Кто больше? Раз! Кто больше? Два! Кто больше?..

Люди ухмылялись, обступив стол. Казалось, никто не только не хочет предлагать больше или меньше, даже даром не возьмет ничего, если судебный пристав станет раздавать. Стояли и смотрели. А когда прискучило им смотреть, потихоньку разбрелись по домам.

Судебный пристав сунул деревянный молоток обратно в портфель.

А Юзас отправился в Скодиняй за обещанными саженцами яблонь. Пока все посадил, и снежок выпал, и морозец стал покрывать льдом болотные окна, замыкать трясины на ключ — на зиму. Самое время опять рубить крушину да берест для гати, перетаскивать хворост поближе, чтобы потом, когда растает, все было бы под рукой: бери да настилай.

Вот так и шла зима на Кайрабале. Староста Дуоба и судебный пристав больше не показывались,

Юзас даже поверил: больше не покажутся. Где это слыхано драть за болото с человека, как за настоящую землю?! Видно, поняли в волости, что чушь это собачья, курам на смех. Юзас жил спокойно. Работа просто горела в руках. Доделывал чулан, давно уже начатый и недоконченный, смастерил и кровать из оставшихся половиц, такую широкую и длинную, что при нужде можно уложить на нее не одного, а двоих, а то и троих или четверых, если голова к голове поперек кровати. Было бы только кого укладывать. Наложил на кровать душистое сено с чабрецом, а сверху покрыл простыней из чесаного льна, которую еще маменька, вечный ей упокой, ткала и отбеливала на росе летними утрами. Сколотил Юзас для чулана и стол. Широкий, длинный. Даже не на козлах столешницу пристроил, а по-городскому: на четырех прямых ногах, связанных внизу крестовиной. Повесил полки и расставил на них разные лакомства, чтобы стояли в прохладе и не плесневели. А покончив со всем этим, увидел, что изба уже не просто изба, а как бы о трех половинах: две с обеих сторон, а третья посередине. Дай боже каждому такую избу, чтоб и все разложить и самому посидеть места хватило.

И тогда Юзас вспомнил, что не сдержал он обета, не вырезал Иисуса и не поместил его в выемку креста в излучине дороги у Павирве. Собрался в путь, объездил многие деревни, пока не отыскал подходящий липовый чурбак, в самый раз для резьбы. А потом остро наточил стамеску и уселся к окну делать то, что тогда не удалось.

Иисус и теперь вышел не ахти какой. Одно плечо выше, руки кривые, надломленные. Но голову все-таки сумел повернуть вместе с терновым венцом, да и левый бок продырявлен, как положено. И Юзас отнес Иисуса и пристроил его в выемке креста, а потом закрыл стеклом, отыскав кусок, оставшийся от окон, замазал глиной, чтоб держалось крепче.

А когда, покончив с этим делом, зашагал домой, то подумал, что уже порядок. Теперь уже порядок. Бог ему избу о трех половинах, а он богу Иисуса для креста — так на так, как говорится. Иисус, пожалуй, мог бы и получше быть, позатейливее, но хорошо, что и такой. Как умел, так и сделал. Надо попросить настоятеля, чтобы освятил, и тогда полный будет порядок. Во всем полный порядок.

10

И впрямь во всем порядок. Весна нагрянула теплая, с щедрыми ливнями. Перегной грелся на солнце, даже пар из него шел. И с гатью продвинулся Юзас, осталось подождать, пока хворост как следует перемешается с илом и сможет выдержать лошадь с телегой. И семена подобрал отменные, даже шестирядный ячмень достал, и низкорослую гречиху, которая вверх не тянется, но зерно дает горстями. А пеструха опять привела теленка, овца — еще двух ягнят.

Так теперь бежали каждая весна и каждое лето. Юзас ногой не ступал с Кайрабале. Даже на крестинах других детей брата не побывал, хотя знал, что

родились еще мальчик и девочка, и зван был. Корпел в поте лица с утра до вечера. Ничего больше.

Вишенки принялись все до единой. И яблоньки принялись. Впились корнями в землю да цвели, будто снежные сугробы, каждой весной. Юзас срывал вишни, варил варенье. Или складывал в стеклянные посудины, засыпал сахаром поверху и ставил на окно, на солнышко, чтобы от лучей его напиток получился крепкий, как порох. А яблоки укладывал в сухой торф на чердаке избы и хлева, чтобы лежали до рождества и нового года, когда люди успеют уже позабыть их запах, а у Юзаса все еще будут эти красавцы — и гостю подать и на базар отвезти. Юзас слышал разговоры умных людей: после рождества, дескать, к яблоку и не прикасайся — ни вкуса в нем нет, ни силы. Слышать-то слышал, да в голову не брал, каждый день по яблоку уплетал и не чувствовал, чтоб здоровье у него хромало. Видать, и умные люди иногда скажут не то. Помогали Юзасу жить его сажены. Не все, конечно. Кроме тех вишенки, что росли на могиле. Этих Юзас не трогал. Ни разу. Зато слетались сюда поклевать стаи скворцов, набрасывались щеглы, появлялись даже робкие юрки и коноплянки. Лакомились вишенками, трещали, щебетали, будто дети в пасхальное утро. Юзас даже останавливался, проходя мимо. И ему казалось, что этих щебетунов слышит не только он, но и те двое под вишнями, русский и германец.

И все-таки, пожалуй, не во всем был такой порядок, как Юзасу казалось.

Нежданно-негаданно Юзас ловил себя на том, что все чаще подумывает о Карусе. Не о Винцюне, а о Карусе. Так и стояла она перед глазами с белой корзиной, полной румяных ягод, или плачущая на крестинах у брата. Юзас встряхивал головой, отгонял прочь это наваждение, но Карусе все перед глазами да перед глазами.

А потом побежали по округе толки, что неладно с Карусе: пошла дурной дорожкой, путается с каждым, кому только не лень.

Принес эти разговоры не кто-нибудь, а брат Адомас. Карусе-де стала каждому парню в деревне доступна, да еще так доступна, что женщины, встретив ее, зажимают нос и вслух говорят: «Фу!» А мужики нос не зажимают, ни один не говорит «Фу!», а только поводят усами да поглядывают, в какие кусты Карусе нырнула, чтоб вслед за ней побежать. Вот так теперь с Карусе. Старик Чёвидис за голову хватается. Пытался бедняга суковатой палкой дело поправить, потом вожжами. Только руки себе отбил. Если девка ошалела, разве вожжами ее остудишь? Смех, да и только. Бросила отцу в лицо: «Раз нету желанного, любого желаю!»

Слушал Юзас этот рассказ брата, и сердце у него замерло: «Кто же этот желанный?»

В душе-то он знал кто, но тут же отогнал прочь эту мысль.

Адомас, будто отгадав, о чем думает Юзас, спросил прямо:

— Старик Чёвидис сюда не приходил?

— С какой стати?

— Тебя прикончить.

Юзас посмотрел на брата, усмехнулся краешком губ.

— Смеешься, стало быть.

— Какой тут смех? Двух собак завел Чёвидис. Чтоб парней отпугивать. Овчарок, истых зверюг. Целыми ночами лаяли они, выли, цепями гремели, а однажды утром смотрит старик Чёвидис — лежат дохлые. Одна и другая. А парни опять к амбару Карусе, ну просто как саранча... Вот тогда и сказал Чёвидис: «Юзас еще меня попомнит!»

— Помомнит? Не видел я ее, не трогал. За что?

— А кто тебя знает, трогал или не трогал...

— Много говоришь.

— Да, пожалуй, немного, Юзас. Старик Чёвидис втемяшил себе в башку, что это из-за тебя Карусе... Дочку, говорит, Юзас у меня испортил.

Адомас помолчал.

— А если по правде, Юзас? И впрямь ты ни сном, ни духом?

— С соплячками не вожусь.

Адомас посмотрел на брата. Поверил: не врет он.

— Если нет, то с чего девка так ошалела? — сказал не то Юзасу, не то себе.

Юзас не ответил. Встал с лавки, прошелся по избе раз, другой. Остановился у окна. Молчал и Адомас, сидя в одиночестве у стола.

— В голове у тебя помутилось, Адомас, — сказал Юзас, не поворачиваясь. — Слушаешь бабью болтовню. Будь ты мужчиной, сплюнул бы: это я-то с соплячкой?

— Пожалуй, оно и так, Юзас. И дай боже, чтобы так. А насчет Карусе — это ты зря. Соплячка соплячкой, а погляди поближе, какая баба выйдет из этой соплячки!..

— Может, хватит, Адомас? — попросил Юзас.

— Винцюне тебя заботит, — помолчав, сказал Адомас. — Вот в этом вся беда.

— Меня заботит, если уж заботит, не тебя, Адомас.

— Твоя беда, Юзас. А еще беда, что не твоя только это беда, но и Карусе. Поглядел бы на нее, поговорил. Велика печаль, что молоденькая, для тебя, может, и в самый раз.

— Заткнись ты, Адомас, со своей Карусе.

Адомас понял: не стоит больше говорить. Встал с лавки, поискал шапку.

— Потопаю, — сказал по старой привычке.

Остановился с шапкой в руке.

— Не из-за Карусе пришел, — сказал. — С нашей Уршуле неладно вот.

Юзас обернулся от окна. Ждал, что еще скажет брат.

— Глиста из Грикапеляй взбесился.

— Уже дерется?

— Как это «уже»? Откуда знаешь? — уставился на него Адомас.

— Глисты всегда дерутся.

— Вчера прибежала. Лицо исцарапано, одни синяки, платье пополам разодрано. Глиста следом за Уршуле прибежал. «Не бил, худого слова не сказал,

лицо, мол, сама себе исцарапала. Бежала по саду и царапала ногтями. Соседи видели, могут сказать».

— А ты и рад поверить глисте?

— Да ведь и наша Уршуле...

Помолчали братья. Один у окна, другой — неподалеку от двери. Посмотрели друг на друга.

— Не везет нашему роду,— сказал Адомас.

— Надо было вчера мне сказать.

— Может, надо было, а может, и не очень. Круты, Юзас. Прибежал бы, глисту прихлопнул, а толку что?

— Давно пора.

— Не спеши. Поговорил Стяпонас с Уршуле, когда за ней прибежал, плечо погладил, за руку взял. Гляжу, оба вот-вот заплачут. Так и домой друг друга за ручку повели. Одной рукой обнимаются, другой слезы смахивают.

Юзас посмотрел на брата.

— Повели? Так чего ты ко мне пришел?

— Добра не жди,— сказал Адомас. — Того и гляди, опять прибегут.

— Я это сразу говорил, до свадьбы еще. Ты меня поддержал?

— Уршуле Стяпонаса выбрала, не я. Ты же знаешь: поддерживай, не поддерживай, она свое делает.

Опять помолчали братья.

— Потопаю,— сказал Адомас.

— Если еще что, дай знать.

Адомас кивнул, шагнул к двери.

— Уршуле — сестра мне,— сказал Юзас.

— Мне тоже,— отозвался Адомас с порога.

Сказал это Адомас и в дверь. Но не вышел сразу, напомнил:

— А Чёвидиса все-таки поостерегись.

Юзас молча кивнул, а потом долго смотрел в окно, как уходит его брат Адомас. Вначале с холма спустился, потом по гати пошел. Все дальше и дальше. Юзас так и не понял, зачем он приходил на самом деле, что хотел сказать или узнать. Пришел, взбаламутил все, взбудоражил и ушел теперь восвояси.

Юзас то верил, оставшись в одиночестве, то опять не верил, что Уршуле могла сама себе лицо исцарапать. Брешет глиста, надо было проучить такого, отшибить охоту. Ну, а вдруг не брешет? Вдруг правду говорит? Вдруг Уршуле и впрямь сама себе лицо ногтями ободрала? Не похоже, совсем не похоже. Ну, а вдруг? Мало ли бабы всякой чепухи натворят, когда на них находит. Уршуле, конечно, не из таковых, ну, а если по правде? Что он знает теперь про свою сестру? Знал близко, вместе росли, но тогда Уршуле была не только молодая — незамужняя. А незамужняя девушка и замужняя женщина — далеко не то же самое.

И так и сяк прикидывал Юзас, но ничего не придумал, только чувствовал, что сосет у него под ложечкой от всех этих мыслей.

А еще труднее было понять, что Карусе могла так. Неужто человек в здравом уме поверит, что и впрямь она так из-за него, Юзаса? Чуть мелет Адо-

мас. Все они там чуть собачью мелют. И Чёвидис вместе со всеми. Дрыхнут без дела, сны всякие видят, вот и дурят, несут окоlesiцу.

Юзас махнул рукой и вернулся к работе. Глушил себя работой с утра до вечера, в сумерках едва живой валился на кровать. Но не мог заглушить, не мог вырвать боль за Карусе, за эту соплячку, которая, может, все-таки из-за него, и, может, все-таки есть вина за ним, Юзасом. Не оттолкни он ее, может, и она бы по-другому. Может, и по-другому. Но как взять девку, если в сердце ничего нету? Ничегошеньки... Так-таки ничего?.. Хуже даже, чем ничего. Сто раз хуже. Не вырвать, не выдрать, не искоренить Винцюне, крапивою обжигает сердце, да будет бог милосердней для нее, чем она была для него, Юзаса. А раз оно так, что тогда Карусе? Что Чёвидис со своими овчарками да угрозами?!

Нет, нехорошие настали для Юзаса дни. А ночи и того хуже.

И в одну из таких нехороших ночей почудилось Юзасу, что он вроде и не один в постели. Не догадался поначалу в сладком полуночном забытии, кто да откуда. Тем более в такую пору. Он-то ведь не привык запира́ть на ночь дверь. Даже засова на двери не было. Каждый, кому не лень, мог войти и опять уйти без спроса да без стука. Но за все эти годы случая не было, чтобы кто-нибудь без зова переступил порог. Не было такого случая. Что же теперь такое? Откуда?

И, пока Юзас гадал, вокруг его шеи вдруг обвились чьи-то руки. Теплые оказались руки. И мягкие. Юзас даже слова не мог сказать. Слышал только, что женский голос повторяет навзрыд:

— Как ветка отломанная, без тебя...

Узнал Карусе. Невидимая в темноте, льнула к нему всем телом, гладила руками волосы, искала губами губы.

Юзас не сразу пришел в себя. Повел плечами, вызволил шею.

— С ума сошла!

— Не убегай... не отталкивай,— гладила его Карусе, снова в темноте обнимала его за шею, прижимаясь к нему. — Господом богом прошу!..

Юзас высвободился-таки, встал с кровати, потянулся к лампе, а когда зажег и обернулся, снова оторопел. Не девчонка Карусёте стояла перед ним — костлявая, с торчащими локтями, с острыми коленками,— а рослая грудастая девка, от которой даже через сорочку шибало таким жаром, что Юзаса пот пронял. Стоял, мотал головой, не мог понять: наяву видит Карусе или мерещится она ему. Волосы у той разметались, на глазах слезы, сорочка распахнулась на груди. Юзас вздрогнул.

— Светом заслоняешься? — проговорила Карусе.

Спросила полным горечи голосом. И слезы у нее на глазах были уже не те девчоночьи. Протянула руки и двинулась к нему, глядя в упор. Юзас вздрогнул, попятился, ударился спиной о стену. Карусе настигла его. Туго уперлась грудью, дышала в лицо огнем.

— Чего ни делала, чтобы только тебя из сердца выдрать, слышишь? С любим, лишь бы где да лишь бы как, слышишь?

Юзас молчал.

— И ничего не вышло, слышишь? Ничего у меня не вышло. Только извозилась, запачкалась вся, слышишь?..

Слезы так и брызнули у нее из глаз, и была вся она сейчас одно рыдание. И в то же время прекрасна, какой ни разу не видел ее Юзас.

— И чего ради? Мало ли мужиков не женятся на той, которая полюбила? Что стало бы, если б все так из-за девки... На болото?! Ума ты лишился, Юзас. И сердца!..

Карусе поникла, упала к ногам Юзаса, обняла их, причитая уже в голос:

— Глядела бы за тобой, каждый божий день теплой водичкой ноги мыла бы. Чтобы только с тобой, с тобой, Юзас!..

Юзас понял: еще одно слово Карусе, еще вздох, и он не выдержит, стиснет ее своими железными ручищами, утешит. Вздрыгнул от этой мысли и, сам того не чувствуя, оттолкнул стоящую на коленях Карусе.

— Отвяжись, потаскуха!..

Увидел, как побледнела она, откинулась, не вставая с колен, опершись обеими руками о пол, и впилась в него застывшим, каким-то мертвым взглядом. Юзас почувствовал, что и сам побледнел не меньше ее, уши заложило, глаза, кажется, так и выскочат из глазниц. Карусе поднялась, не отрывая оцепеневшего взгляда от Юзаса, сгребла руками распахнувшуюся сорочку на груди, остановилась перед ним.

— Не поможет тебе бог,— сказала так тихо, что Юзас разобрал только по губам.

И пошла к двери. А посреди избы пошатнулась, Юзас бросился было поддержать, но Карусе, выпрямившись, сказала, не оборачиваясь:

— Не прикасайся!..

И ушла.

Теперь пошатнулся и он, Юзас. Ухватился за подоконник.

11

Юзас приладил к двери засов. Длинный и не деревянный, как у многих вокруг, а из кованого железа, зубчатый, вделанный в такие же железные скобы да так мудрено, что только он, Юзас, мог отодвинуть его изнутри или снаружи особым крюком. А заперев намертво избу, шел к другим постройкам и тоже прилаживал. Но не засовы, а замки амбарные, почти пудовые. Огляделся и понял: теперь уж никто не заберется к нему — ни человек, ни сам черт. Теперь он один. Днем и ночью один.

А потом Юзас опустил в Павирве дубовое бревно. Длинное и толстенное. Едва Карусе ушла, запряг лошадь, поехал в деревню и купил это бревно, ухлопав бешеные деньги, а теперь опустил в воду, потому что немореный дуб и дубом не назовешь. И не потому стал морить бревно, что Карусе сказала ему, дескать,

бог не поможет. Просто потому, что при доме нужен крест. Какой дом без креста? Всюду кресты. Где ни двор, там и крест. Конечно, где справный двор. По всей Литве так. Издавна повелось. А двор Юзаса, пожалуй, и больше, чем двор: не только человек здесь обитает, но есть и могила, в которой покоятся еще двое — солдаты царя и кайзера.

А Карусе... При чем тут Карусе? Пришла незваная, ушла невыгнанная. Разве новость для нее вот так явиться, когда столько мужиков пропустила, если верить людским толкам, да с каждым на соломе всласть повалялась? Одним больше, одним меньше... «Как ветка отломанная...» Нашла о чем говорить, на соломе провалявшись! И злится еще: «Не поможет тебе бог». Поможет он мне или не поможет, ты-то здесь ни при чем!..

Вот так думал Юзас, опуская дубовое бревно в речку и возвращаясь в избу. Но потом мелькнуло у него в голове, что нет, нехорошо он думает о Карусе, неправильно. Не поваляться с ним она пришла, а за чем-то другим. И все отчетливее понимал, что не так надо было с ней разговаривать. И остро пожалел эту Карусе, которая стояла той ночью перед ним вся нараспашку.

Пожалел до боли в душе и тут же рассердился. Неужто не знает, не понимает девка, что сердцу не прикажешь: раз нету той, которая нужна, бери ту, которой ты сам нужен! Сердце свою песенку поет. А раз так, какого дьявола притащилась она, Карусе-то? Чего тут потеряла! Так думал Юзас, заглушая угрызения совести. Но заглушить так и не смог. Не посветлело в глазах.

Вошел в избу. Бросил взгляд на осколок зеркала, прилаженный на стене. Сам не знал почему, а посмотрел. Ведь только утром смотрелся за бритьем, а вот теперь взял и опять взглянул. Полдень, работы невпроворот, а он перед зеркалом. И увидел в этом осколке, что седеют виски. Уже седеют! Впервые это заметил: побежала изморозь прядями, отбеливает, покрывает сединой голову. Значит, все уже? Сколько он прожил-то, если все? И до чего дожил?

Юзас долго стоял перед осколком зеркала. А потом поднял кулак. Дзинькнуло, стекляшки серебряными крупницами полетели, поблескивая, со звоном на пол.

Юзас не услышал звона. Он был уже во дворе.

И здесь словно впервые увидел, как много успел сделать. И правда много. Дойных коров у него уже не одна, а две, телят целых три, а овец-то и шесть. Скоро тесно станет на холме. И сад весь принялся, приносит ему прорву яблок и груш. А еще ульи под яблонями да вишнями. Так и гудят ульи, полные меда, принесенного пчелами из-за болота, с цветущих лугов да гречишных делянок, из лесу, где голубел в тени папоротников вереск. И вода в колодце больше не шибает илом, чиста она, будто слеза. И травок всяких насушил Юзас на чердаке, хоть день и ночь пей целебный отвар, не выпьешь...

И Юзас взялся за новые дела тоскующими по работе руками, и, за что он ни брался, все горело в руках.

Брат Адомас просто опешил, увидев все это, даже Юзаса почти не узнал.

— Живешь! — только и сказал. — Живешь!

— А чего мне? Работаю.

— Да и я не плачу, — поправился Адомас. — И дети у меня уже под стол пешком не ходят. Помощнички-работнички. Живу и я.

— Много ли наместерил?

— Разве не знаешь?

— Скажи, может, и узнаю.

— Да чего и говорить-то. В крестные, видишь ли, не очень-то удобно было тебя звать. Моя сбесилась и будто топором: раз он с Карусе так, то и мы с ним так. Ты уж не сердись, Юзас. Не очень хорошо вышло.

— Как шло, так и вышло.

Адомас помолчал.

— Вижу я, сердисься-таки, — сказал. — А зря. Поймешь ли, отчего бабы кричат.

— Не мне понимать.

Адомас увидел: Юзас и впрямь сердится. И не знал, что надо теперь сказать или сделать, чтобы стало иначе. Чтобы стало, как раньше.

— Два сына, Юзас, — сказал. — Два сына. А дочерей-то три. Ты бы видел, старшая уже и за кросна садится, и скотину покормить может. А другие две ей помогают. Нет, я не жалуюсь, Юзас. Когда все крутимся, то и в страду помощников звать не приходится. Чужих уже не зовем, Юзас.

— Хорошо, — сказал Юзас. — Раз так, то и хорошо.

— А тут еще школу в нашей деревне открыли. Литовскую школу. И учительница уже приехала с полным сундучком книг. Ты и этого не знаешь, Юзас?

— Насколько знаю, школы у нас не было.

— Это при царе не было, Юзас. При царе. Теперь другое дело! Теперь Литва, Юзас. Нет теперь деревни без школы. А в Мальдинишке, говорят, скоро прогимназию откроют. Чтоб дети дальше могли. Учиться дальше.

— Ипустишь, конечно?

— Уже пустил, Юзас. Много ли нас грамоте учили? Как же теперь не пустить-то? Чтоб и они были, как мы?

Юзас помолчал. Перемалывая в голове услышанное от Адомаса.

— Так вздыхаешь чего? — спросил брата.

— Я не вздыхаю, Юзас, — сказал Адомас. — И не прикидываюсь. Только вот что ты мне скажи, Юзас: Карусе была?

— Карусе?..

— А старик Чёвидис? Чёвидис-то был?

— Чёвидис? А этому чего?

Адомас долго молчал. Поднял голову, посмотрел прямо в глаза брату, сказал тихо:

— Карусе пропала.

Сказал это Адомас и увидел, как Юзас крепко стиснул зубы. Даже желваки заходили у него на скулах.

— Старик Чёвидис третью неделю волость про-

чесывает, — говорил Адомас, не отрывая взгляда от Юзаса. — Ни живой, ни мертвой Карусе нету. Будто в воду канула девка.

Юзас окинул брата взглядом.

— Ты-то откуда взял, что здесь она может быть?

— Только гадаю, Юзас. Только гадаю.

— Почему гадаешь?

— Видишь ли, сказывают люди, Карусе обмолвилась старику отцу, мол, был один мужчина — всем мужчинам мужчина, да и тот оказался дерьмо дерьмом. Как все. Вот я и говорю, не о тебе ли она так?..

— Такое ли уж я... дерьмо?

— Карусе так сказала, не я. Сорвалось у девки, чего тут удивляться. А потом она в костел. Не воскресенье было, а пошла. Едва сказала это отцу — и в костел. Люди теперь в один голос твердят: дескать, бросилась Карусе на колени перед нашим стариком настоятелем, руку ему поцеловала, со слезами просила допустить к исповеди. За всю жизнь. А когда выслушал ее настоятель, причастилась она и пропала из виду. Никто с того дня ее не встречал.

Юзас встал. Зашагал по двору, потом вернулся, остановился, поблуднев, перед братом.

— Старик Чёвидис многим уже говорил, что это дерьмо дерьмом — ты. И что возьмет он суковатую яблоневою палку и придет с тобой потолковать. Кое о чем спросить придет.

— Нету здесь Карусе, — сказал Юзас. — Сам видишь.

— Я-то вижу. Вижу, Юзас. А не было? Была ведь, Юзас!

Юзас помолчал.

— Пускай приходит.

Адомас встряхнул головой.

— Как знаешь, — сказал он, — как знаешь, Юзас. Только запомни: старик Чёвидис на кабанов в одиночку ходит!

— Пускай приходит.

— Как знаешь, Юзас.

— Не лежал я с Карусе. А засов на двери отодвину.

— Как знаешь. На твоём месте я бы не оставался ночью на Кайрабале в одиночку.

Юзас ничего не ответил брату.

Расстались молча. Адомас уходил по гати, втянув голову в плечи, как бы уменьшившись весь. Юзас смотрел на него, пока он совсем не исчез из виду.

А Чёвидис так и не появился на Кайрабале. Ни в тот, ни в какой-нибудь другой день. Старик, вить, все еще прочесывал волость. И о Карусе ни слуху, ни духу. Прошла неделя, началась другая. Юзас впрягся в работу, а по вечерам по старой привычке падал на кровать и долго валялся, заложив руки за голову. Сон не брал. Не выходила из головы Карусе. Знал ведь: он-то здесь ни при чем, Карусе даже пальцем не тронул, а сердце ныло от мысли, что, может, и не совсем оно так, может, именно в том и виноват, что не тронул. Ночи напролет думал об этом. А когда вставал поутру, руки были точно пакляные: что ни берет — не возьмет, тукнет топором — не попадет, любая работа валилась из рук.

И голова какая-то очумелая, все чаще и чаще Юзас останавливался посреди двора или в избе и вспомнить не мог, куда шел, что собирался делать да почему остановился. Растерялся Юзас от всего этого и не мог отогнать мысль, что не к добру это — подкрадывается старость, а то и чего похуже.

Вот так теперь шли дни у Юзаса.

А Карусе-то нашел не кто-нибудь другой, он сам, Юзас. Нежданно, негаданно. И ведь не искал ее. Карусе всплыла сама. Не весной, в ледоход, когда все всплывает на свет божий, а сейчас, едва пожелтели от заморозков березки да встопорщился мох на болоте. И не в реке или озере, на берегу которого молодежь летом потанцевать собирается и где он, Юзас, тогда с Винцюне... Под боком всплыла Карусе. В одном из болотных окон Кайрабале.

Юзас шагал по кочкам, глядел, поспела ли клюква, а тут плавает в болотном окне что-то рябенькое. Подумал сначала, бревнышко или пенёк, облипший тиной. Мало ли всплывает таких коряг, десятки лет пролежавших во мраке болотных окон? Всплывают и болтаются на поверхности. Год болтаются, другой, третий. Пока люди, когда трясина зимой покрывается льдом, не подползают к окну и не вытаскивают длинными баграми на топливо или для других надобностей. Вот и Юзас прошел было мимо, но не прошел-таки, остановился, сам не зная, почему. И увидел — не коряга в болотном окне. Захолонуло сердце. Узнал полосатую домотканину, что продолговатым пузырем вздыбилась над водой. Никто во всем приходе не умел выткать такой узор, только она, Карусе. Никто другой, кроме нее.

Юзас долго стоял, не в силах оторвать глаз от болотного окна. Ноги уходили все глубже в мох, вокруг голенищ сапог появилась вода, а он видел только эту полосатую домотканину, все эту домотканину. Как очутилась здесь Карусе? Как добралась? Ведь никто на свете, о двух ногах или о четырех, никто на свете даже издали не мог подойти к этому болотному окну, только он один, Юзас. И то лишь потому, что дедушка Йокубас показал когда-то, как нащупывать грунт потайной тропы. Все остальные обходили это место за версту. Знали: неверно ногой ступил, и нет тебе дороги домой. Как же она, Карусе-то? Кто показал ей, если дедушка Йокубас давно в могиле, а Юзас рта ни перед кем не раскрыл о той тропе?

И почему она так, Карусе-то? Кто толкнул ее, заставил? Неужто из-за него, Юзаса? Неужто оттого, что не обнял ее тогда ночью, когда явилась она в одной сорочке, не прижал к сердцу, потаскухой обозвал?..

Очень долго стоял Юзас у болотного окна.

А возвратившись домой, приладил на длинный шест железный крюк и, снова вернувшись к окну, зацепил этим багром за домотканину, медленно подтащил ее поближе к краю, а когда можно уже было рукой достать, увидел толстую и длинную железную цепь, скрещенную на груди Карусе. Освободилась эта цепь. Один ее конец висел в черной воде, а от дру-

гого лишь несколько звеньев оставалось над домотканиной. Юзас догадался: к цепи привязан был камень. Не надеялась Карусе на доброту глубокой воды, вот и привязала камень. Тяжеленный. Чтоб наверняка утащил во тьму болотного окна. А теперь цепь развязалась в воде, камень выскользнул, отпустил Карусе на свет божий.

Вернувшись домой, целую ночь сколачивал гроб. Широкий, просторный гроб. Когда человек подольше в воде побудет, это уже не тот человек. Размеры у него другие. Совсем другой гроб требуется тогда человеку. Юзас не сразу даже узнал Карусе, когда вытащил ее из окна и уложил на сухой мох. Другая была Карусе. И если б не эта полосатая домотканина... Пока сколотил для нее гроб, над Кайрабале стал заниматься день. Идти к болотному окну уже нельзя, придется ждать вечера. Неужто потащишь гроб через все болото, когда солнце светит и все насквозь видно. Солнце еще куда ни шло: посветит и дальше покатится по небу. А люди? Половина прихода сбежится, если только кто увидит Юзаса с гробом на болоте. Да уж, надо ждать вечера, вечером всегда делают то, что нельзя днем.

А чтобы не в тягость было это ожидание и во время было сделано то, что можно и нужно сделать уже сейчас, Юзас взял в руки лопату и стал рыть яму рядом с могилой этих двоих, солдат царя и кайзера. К вечеру Юзас и управился с ней. Ладная получилась яма: широкая, глубокая, в самый раз для Карусе.

Уже в сумерках Юзас обвязал гроб веревкой и притащил его к болотному окну. Нагнулся, чтобы поднять Карусе, но едва ее тронул, как цепь соскользнула вниз. Прямо в болотное окно. Звено за звеном, и нету цепи-то. Булькнула в глубине, окончательно отпустив Карусе. Та даже вздохнула, до того легко ей стало. Казалось, и впрямь вздохнула и теперь уже кротко ждала, когда Юзас уложит ее на смолистые стружки в гробу, сколоченном его руками.

Почти до рассвета корпел Юзас, пока уложил Карусе как положено, закутал в белую холстину да протащил гроб по мшаникам, сунув под него побольше веток, чтоб не погрузился в трясину, не утонул. Кто утонул живым, тот не должен утонуть мертвым. А на рассвете Юзас похоронил Карусе. Рядом с теми двумя.

По привычке Юзас уселся на лавочку под окном. Не закурил, как всегда после тяжелых работ. Даже к стене избы не прислонился. Сидел прямой, будто палку проглотил, положив шапку себе на колени. Словно и не дома он, не в своем дворе, а в костеле или часовне какой-нибудь. Сидел и смотрел, как на Кайрабале всходит солнце. Всходит и поднимается. Медленно, но все выше и выше. Как и каждое утро. Как всегда.

— Вишенку ей посажу, — вслух сказал Юзас. — Пускай цветет в ногах.

Помолчал, добавил:

— Пускай цветет.

Вишенка принялась. Уже на другой год цвела радостно вместе с теми двумя. Вместе со всем садом. И пчелы жужжали в ее цветах, не выделяли вишенку из других. Три колоды пчел было у Юзаса. Трудяги эти пчелки, наперегонки таскают сладость в соты. Утром Юзас теперь глядел в оба: проторили они тропу по воздуху к тому берегу Кайрабале и как начнут дружно гудеть в полете, кажется, не пчелы это, а снаряд пушечный разрезает воздух. Ранней весной, пока в саду еще не раскрылись цветы, звали пчелок далекие луга. А когда яблони и вишни склонялись под тяжестью белых сугробов, трудяги затихали, молча опустошали цветок за цветком, грузно опускались на летки ульев.

А Чёвидис так и не показался на Кайрабале. Всю осень. Всю зиму. И всю другую весну. Юзас даже перестал озираться, выходя по утрам из избы.

Вместо Чёвидиса снова пришел Адомас. На сей раз не говорил ни о Карусе, ни о Чёвидисе. Молча сидел рядом с братом. Папирской попыхивал.

— Чего еще? — спросил Юзас. — Какая беда прижала?

Адомас молчал. Посмотрел на брата.

— Какая там беда, — сказал. — На хутор выселяют.

— Вижу, не очень-то хочешь?

— Никто меня не спрашивает.

— Тогда не перебирайся.

— Не все знаешь, потому и говоришь. Нашлись в деревне пустоголовые, старосту позвали, бумагу властям написали: разделите, мол, нашу деревню! Много их, пустоголовых-то. Большая часть деревни. Вот теперь хватают за шиворот и тех, кто не подписывал, ни у кого не спрашивают, хочешь ты или не хочешь.

— А ты бумагу подписывал?

— Даже не знал, что пишут ее.

— Так какого же черта?

— Говорю же тебе, большая часть деревни подписала. Сам волостной старшина верхом прискакал. А раз уж старшина, как не слушаешься? Сам старшина! Властей не слушаешься?!

— По моему разумению, так: бумагу ты не подписывал, ничего не знаешь, и что тебе старшина? Земля не его, твоя, значит, и воля твоя.

Адомас улыбнулся. Вся округа, стало быть, и он, Адомас, все знали и помнили, как волостной старшина посылал Юзасу повестку за повесткой об уплате налогов, потом даже судебного пристава послал, и что вышло из того, что посылал?

— Тебе-то хорошо, — сказал Адомас.

— А помнишь, говорил, на Кайрабале мне хуже будет.

— Не каждое слово богу прямо в ухо летит. Сказал так, получилось иначе. А ты радоваться не спеши все-таки. Неизвестно еще, как обернется все, Юзас. С волостным старшиной шутки плохи. Все еще может быть.

— Когда будет, заплачу. А теперь-то чего?

Адомас молчал.

— Как подумаешь, — опять заговорил, — как посмотришь с другой стороны, то сколько мы времени зря на эти полосы изводим. На хуторе такого не будет. Тут твой двор, тут и поле с рожью, под забором курица, за забором стадо, все рукой подать. Дождь, ветер или там снег раньше срока пошел, прибежал, поднажал граблями, вилами поддел — все уже твое, под крышей, на месте. Вся деревня подписала, Юзас.

— Так чего пришел?

— Потолковать, Юзас. Потолковать. Или вот ежели взять беконные свиньи. Англичанин вконец распустился: подавай ему поросенка, чтобы мясо слоеное было да чтоб сала не слишком много. Такого поросенка можно только, когда он под рукой, откармливать, на глазах. А как на глазах, если по полосам бегаем да за тридевять меж уходим? Или я не то говорю, Юзас?

— Не то, Адомас, — ответил Юзас. — Раз за деньгами пришел, так чего меня по межам водишь? Выкладывай прямо: раз нужны деньги, то сколько?

— Угадал ты, Юзас.

— А где твои собственные гроши-то? Только что ведь пел: дети подросли, работнички-помощнички, батракам платить больше не надо, где же?

— Такие у меня и гроши, Юзас. По-твоему, свой меньше стоит, чем чужой? Своему снятое молоко на обед не подашь. Своему и одежда, и обувь лучше нужна не только каждый день, но и в воскресенье, чтоб в костеле показаться. Не батрак же, сын хозяина, как выйдет на люди в чем попало? Сам подумай.

Откашлялся Адомас, помолчал.

— Да и деньги-то теперь до чего скользкие! Как ни жмешь, как ни придерживаешь, глянь, опять из кулака вытекли, будто и в помине их не было. Не крепкие теперь деньги. А что будет, когда избу придется тронуть? Изба пока стоит и стоит, сто лет простоит, а тронул — и сам уже не знаешь, что тронул. Может, куча трухи окажется. На какие шиши новые стены на хуторе срубишь? А где деньги для землемера, чтоб не посадил тебя куда-нибудь на пустошь, где только пни, или на голый песочек, всю жизнь будешь собакой выть. Вот оно как, Юзас.

Юзас ничего не ответил брату.

— Вот я и пришел, — просительно добавил Адомас.

Юзас молчал.

— С женой потолковал: если брат не поможет, то кто?..

Юзас и теперь молчал.

— Знаю, понимаю, ты тоже деньги лопатой не загребашь, — снова заговорил Адомас. — На болоте сидишь, беконных свиней не откармливаешь, стало быть, и гроши покрупнее к тебе не заглядывают. Только вот, говорю, если брат не поможет... Если брат, Юзас?

Адомас подождал, вдруг Юзас проронит хоть слово, и, не дождавшись, снова попросил:

— Говорю, один двух коров доишь, масла ком-другой на базар отвозишь, сыру там или творога. Перед севом льна, сам говорил, за семена неплохо вы-

ручил. Опять же за мед. А с базара-то сколько тебе надо? Юфтевые сапоги, суконный пиджак — полжизни в этом проходить можно.

— Велика копейка в чужих руках.

Адомас посмотрел на брата. Никогда не думал, что Юзас скуп. Да он и не был скупым-то. Сколько помнил Адомас, Юзас всегда первым протягивал руку каждому, кто был в нужде. Что же теперь стало? Он ведь впервые у него просит!

— Не за милостыней пришел, в долг бы мне, — сказал с горечью. — Вот разживусь на хуторе, до последнего гроша все верну, да еще лишку дам.

Юзас молчал.

— Стало быть, не дашь? — уже прямо спросил Адомас.

— Рад бы, да из каких закромов черпать?

Адомас заерзал на лавке. Еще раз посмотрел на брата. Встал, вышел, не подав руки. Тоже впервые так.

Юзас не тронулся с места.

Деньги-то у него водились. И не какие-нибудь деньжата, не серебро, разжиженное железной или оловянной пеной, а рубли из чистого золота, чеканенные еще во времена русского царя. Такие деньги насквозь идут, все беды перешибают, несчастья прочь отметают. Вот он и насобирает такие монетки, уцелевшие в окрестных деревнях. Царя давно уже в помине нет, а золотые рубли его чеканки есть еще. И долго будут. Может, всегда будут. При всех властях. Так говорил когда-то Юзасу дедушка Йокубас. Так думал теперь и сам Юзас. Дедушка Йокубас никогда слов на ветер не бросал. Ему можно было свято верить. Юзас поделил рубли на две части, половину загнал за потолочную балку, а половину закопал в глиняном полу, прямо под этой балкой. И каждый раз, когда входил в избу и останавливался на этом месте, знал: стоит он на чистом золоте, а над головой тоже золото.

Конечно, когда прикопит побольше, держать не станет, а отнесет кому надо. Скажем, ксендзу-настоятелю: «Когда помру, чтоб по мне молебен. Целый год. И не простой, а с пением». Надо так сделать. Чтоб заранее знал, что будет, когда ты умрешь. Если знаешь, что будет кому за тебя помолиться, и вовсе чувствуешь себя человеком. Поэтому, прикопив еще, Юзас опять отнесет. Уже не на молебен, а на могильный памятник. Отдаст и скажет настоятелю, чтобы памятник был добротный, а вокруг него чтоб железная ограда. И не просто железная, а выкованная хорошим кузнецом. И чтоб имя и фамилия на камне, а под именем такое: «Был я, кто ты сейчас, ты станешь тем, кто я сейчас». Еще ребенком Юзас побывал с дедушкой Йокубасом на кладбище и увидел эти слова. Даже заплакал тогда, так страшно ему стало от этих слов. Пускай и другие заплачут на его могиле. Заплакал же он, Юзас...

Конечно, Адомасу надо было... Не пошел бы он, Юзас, из-за этого с сумой. И Адомаса бы не обидел. Затаит теперь на него зло. Не задаром же просил, а с отдачей. И не золотыми ему давать. Обыкновенными, литовскими взял бы да еще облизнулся. Ей-бо-

гу, надо было. Хватило бы и для ксендза-настоятеля, и на памятник, и на прочие надобности.

Так думал Юзас, когда ушел брат. Целый день. А потом и весь следующий.

Никак не мог взять в толк, с чего это он так с Адомасом. Сколько себя помнит, дедушка Йокубас, а потом и отец приговаривали: «Держитесь друг за друга, дети, не за копейку, за совесть свою тряситесь, чтоб нелюдьями не стали». Не сорил деньгами никто из них, на ветер рубли не швырял, а вот где надо, так надо. С чего это он теперь, Юзас? Ни жены, ни снохи, ни детей вокруг печки, некого ему одевать да обувать, некому после себя золотишко оставить. Разве не нашлось бы для родного брата, которого нужда прижала? Забыл он наказ дедушки Йокубаса. И отцовский наказ забыл.

И еще пуще стал мучиться Юзас, когда увидел, что хутора не только на словах, но и на деле возникают. В деревне многие уже сдирали крыши с изб, разбирали срубы, везли на новое место бревна. Куда ни глянешь, кучи камней да венцы новых бревен, а в воздухе стоит желтая пыль, кошки вопят, не знают, где теперь их дом, и овцы блеют, не находя ворот, а дети галдят весело, носясь по всей этой разрухе!..

Ей-богу, не надо было отказывать Адомасу.

Юзас трудился, огорчался, но все как бы во сне. И само Кайрабале, и эти зеркальные окна в болоте среди зыбунов, куда не ступал ни человек, ни зверь, и журавли на мшаниках, и бекасы, выстукивающие свои песенки, и гуси да утки с выводками ластных детей, и дымящий на солнце пеке багульник, и вахта, рыхлым снегом засыпавшая ложбинки между пнями, и морошка, выставившая солнцу восковые россыпи ягод... Все кругом. Все как во сне.

Несколько раз Юзас порывался сходить к Адомасу, зажав в кулаке вынутые из-под балки золотые с головой царя.

Не пошел-таки. Не отнес.

Осматривал свой хутор, возделанные поля, сосны на вершине холма и кусты можжевельника, темно-зелеными копнами застывшие у подножия сосен. Все прикидывал, из чего бы еще выжать грош да выгоду получить. Этими прикидками и жил. Вспомнив, что изба на холме, на сухом месте, выкопал под ней глубокий погреб, выложив стены камнями, а осенью сложил в него кочаны капусты, поставил бочонок с квашеной, припас свеклы, ссыпал картошку. Яйца собирал из-под кур каждое утро, но на базар не вез, а укладывал в сухой торф, каждое особняком, чтобы долго лежали и не портились. Зимой, когда люди забывали даже, как выглядит яйцо, Юзас вез их на базар и драг бешенные деньги с самой жены волостного старшины. И с яблоками он так, и с клюквой, и с брусникой. Все прикидывал, чтоб ничто не упустить, чтоб божий дар оказался под рукой, когда больше всего нужен и за малые деньги не возьмешь его. Самый большой праздник был, когда, отправив в люди эти дары божьи, он, Юзас, мог приподнять лезвием топора потолочную доску над балкой и засунуть туда еще одну, а то и две желтенькие монет-

ки. Долго стоял потом, спрыгнув со скамеечки, на которую поднялся с топором в руках, и все проверял, задрав голову, аккуратно ли легли монетки за балкой. Помнил при этом: под деревянными его башмаками в глиняном полу смиренно лежат еще монетки. И те, и эти монетки принадлежали ему, Юзасу, и никому другому. Даже в жар кидало Юзаса, до того хорошо ему становилось от этого золота наверху и золота внизу.

Вот так теперь жил Юзас.

13

Почернело за эти годы дубовое бревно, которое Юзас мори́л в речке, а потом вытащил и уложил под соломенным навесом, чтоб ветром прохватило, чтоб затвердела древесина. Пришло время ставить крест. Если начистоту, то не совсем еще пришло. И шести лет не сохло бревно под навесом, а ведь положено держать его на ветру не менее десяти. Но Юзас, сам не понимая почему, вдруг собрался ставить крест. Вдобавок несколько добрых саженей земли занимало это бревно, а место здесь было в самый раз для рассады. Вот Юзас и взял в руки топор. Думал, между делом, наскоками крест срубит, а к осени пригласит ксендза-настоятеля. Пускай окропит святой водичей, молитву сотворит да споет что полагается, а Иисуса, чтоб к кресту прибить, тоже припас. Вырезал его сам, давно уже — вместе с тем, что когда-то сделал для того, дедова креста. Большой и ладный получился этот Иисус. Со склоненной головой и в терновом венце. Совсем как настоящий. А чтоб совсем уже по-настоящему, Юзас намалевал красной краской большую рану на левом боку Иисуса — там, где его проткнул копьем римский солдат, и, поскольку краски оставалось, брызнул и под колючками терниев. Теперь Иисус и впрямь был как живой. И Юзас взялся за топор. Сразу увидел: дуб так и звенит, лезвие от него отскакивает. Так что не между делом и не наскоком, а целую осень ухлопал Юзас да зимних дней немалую толику прихватил, пока врезал перекладину и водрузил крест там, где ему положено стоять. Пришло время освящать его.

В тот день Юзас дважды намыливал бороду, надел белоснежную льняную сорочку, новые суконные штаны и так начистил сапоги, что солнце, можно сказать, гуляло на голенищах.

Ксендз-настоятель приехал под вечер, отслужив в костеле обедню и вечерню, и почти разом с ним явились приглашенные. Гостей-то было немного. Только родня. Брат Адомас с женой, его старший сын, крестник Юзаса Адомелис, как его все звали, хотя был он уже не Адомелис, а целый Адомас, ростом отца обогнавший, только до свадьбы еще не дозревший, в армии не отслуживший, и другой сын, Юзукас, названный так в честь Юзаса, и три дочки, икрасные, коротко стриженные девки — Она, Мариёна да Катре. Юзас впервые видел их так близко, тут же стал путать и ни за что не мог отгадать, которая из них Она, а которая Мариёна. А еще явилась Уршуле со

своим глистой, с этим Стяпонасом из Грикапеляй, и двумя детьми, прилипшими к маминой юбке, как два трута к хилой осине. И больше никого. Ни соседей, ни знакомых. Когда такая куча родни, стоит ли чужих звать? И за стол после освящения уселась только родня, если не считать ксендза-настоятеля, который тоже был, конечно, родной человек, потому что ксендзов других и не бывает, все они родные, всюду и всем родня. Закусывали окороком и пили медок, который сам Юзас сварил для такого случая, и ксендз-настоятель сказал, что хорошо было бы, если бы перед каждым домом по кресту, ибо дом без креста — это разве дом? Беда только, что народ наш не очень-то спешит кресты водружать, а строит горницы новые, даже крылечки застекленные и прочую ерунду, некоторые, случается, проходят мимо креста, не снимая шапки, а в засуху ленятся обойти поле, распевая псалмы, опуститься на колени перед крестом и попросить бога, дабы окропил поля дождем, когда нужно, или с солнца тучи снял, когда поле залито водой. Безбожным становится народ. С каждым днем все хуже и хуже. Вот и хорошо-де, что Юзас так. Один как перст на болоте сидит, в поте лица своего хлеб выращивает, а вот крест взял да и водрузил.

Глиста, иначе говоря, Стяпонас из Грикапеляй, даже прослезился от таких речей настоятеля. Подвинул к себе кувшин с пивом, которое сварил к празднику Юзас, и уже не выпускал из рук, только наливал стакан за стаканом да опрокидывал, а потом сказал, что и он, и он водрузит крест, честное же слово, ей-богу, вот дай вернется домой, сразу опустит дубовое дерево в воду, а потом высушит и смастерит крест и водрузит, и будет так, как он говорит и как ксендз-настоятель слышит.

Ксендз-настоятель улыбался, а Уршуле не выдержала:

— Заткнулся бы ты, богом забытый, курицей заклёванный!

И Стяпонас заткнулся, а потом прослезился еще пуще, и дети прижались вплотную к матери и глядели на отца — уродливого, какими всегда бывают мужчины, проливающие слезы. Детям было стыдно за отца, а ксендз-настоятель сказал:

— Доброго сердца человек.

А Юзас смотрел и думал: неужели это тот самый Стяпонас, который когда-то колотил Уршуле, как рассказывал Адомас, исцарапал ей все лицо, а не она сама себя поцарапала, бегая по саду, как растолковал Адомасу Стяпонас.

Брат же Адомас сидел за столом, будто совсем чужой, не говорил ни слова, только после третьего приглашения кое-что в рот отправлял да стакан опрокидывал. Юзас даже пожалел Адомаса. Зря не сунул ему тогда копейку. Может, теперь веселее бы выглядел. Улучив минуту, уселся рядом, спросил по старой привычке:

— Ты чего вздыхаешь?

Адомас молчал.

— Останься, когда все уйдут. Скажешь.

— Сегодня нет, — ответил Адомас. — Авось в другой раз загляну. В другой раз.

— В другой, так в другой,— согласился Юзас.

— Не будет другого раза! — услышал Юзас голос невестки.

Стояла она за столом, побелев, прищурив глаза. Смотрела на Юзаса в упор.

— Хватит и этого,— сказала жестко. — Спасибо, что пригласил, за родню посчитал, но хватит!

— Да зря ты,— попробовал успокоить ее Адомас. — Что было, то сплыло, зря...

— Помолчи! — отрубила жена.

Адомас тут же замолк. И другие вокруг. Юзас чувствовал, что у него загорелись уши. Пытался завести разговор то с одним, то с другим, но все от-малчивались. Еще перед заходом солнца все дружно встали, вполрта поблагодарили Юзаса, разошлись по домам. Юзас запряг лошадь, отвез ксендза-настоятеля. Пока съездил туда да обратно, настала ночь, ясно светила луна. Юзас распряг лошадь, подошел к кресту, снял шапку и остановился перед ним, перед новым крестом.

Замолкло, затихло Кайрабале. Заснули птицы, угомонились комары. В лунном свете покойно стояли измученные болотные березки, низенькие сосенки. Над нагретыми за день болотными окнами висели облачка пара, у каждого свое, застилая Кайрабале белесым туманом. А Юзас все стоял под крестом с шапкой в руке. Совершенно один. Горько было на душе. Так горько, как, пожалуй, никогда еще. Все вроде сделано, крест стоит, сад буйно растет, а на сердце горечь. Испортила праздник невестка...

И не увидел, не почувствовал даже, как рядом с ним встал старый Чёвидис.

Теперь они стояли вдвоем. Рядышком стояли.

Чёвидис шелохнулся, показал подбородком на вишенку, на могилы.

И Юзас, не говоря ни слова, кивнул в ответ.

И снова они стояли вдвоем в лунном свете. Совершенно одни. А болотные окна все дымились, заволакивая Кайрабале сгущающимся туманом, и уже не были видны измученные болотные березки, исчезли из виду сосенки. Юзасу показалось, что он стоит не наяву, а во сне, и Чёвидис не настоящий, а только приснился ему. Даже Кайрабале не такое, каким он видит его каждый день, а другое, как во сне. И он повернулся к Чёвидису — на самом ли деле это он, и тогда увидел, что Чёвидис-то настоящий, низко склонивший седую голову и еще ниже опустивший в руке шапку. И в этот же миг услышал голос Чёвидиса, тоже настоящий, только потише, чем слышал раньше:

— Сколько лет гадал. Оказывается, ты приютил. Помолчал, сказал:

— Хорошо ей здесь.

И, еще помолчав, добавил:

— Лучше, чем при жизни-то.

— Почему решил... что здесь? — тихо спросил Юзас.

— Зря человек крест ставить не будет. Услышал, пришел. Тут? — спросил, снова показав подбородком на могилу.

— Кресты все ставят.

— Значит, точно тут,— решил старик Чёвидис. — Теперь уж точно тут.

Старик опустился на колени, перекрестился, зашевелил губами, творя молитву. Могильные холмики почти стерлись, сровнялись с землей, а ведь угадал-таки, перед которым надо опуститься. Юзас почувствовал, что его бросило в озноб.

— Нету здесь Карусе! — закричал громко. — Никого здесь нету!..

Старик Чёвидис домолился, медленно перекрестился, еще медленнее встал с колен и долго отдыхал после этого.

— Чего разорался? — Я не ору, чего ты орешь? Если б не было, ты бы не орал, Юзас. Лежит, ну и пускай лежит. Пускай лежит, Юзас. Чего же орать-то? Ты начал, другие прикончили, чего же теперь орать? Теперь пускай лежит.

— Я не начинал!..

— Лучше бы начал, Юзас. Лучше бы. Лежала бы теперь Карусе не тут, а в другом месте, может, и дети бы у нее были. С девками всегда лучше по-мужски, Юзас. Лучше по-мужски.

Холод подрал по спине Юзаса от этих слов. Много чего ждал он от старика Чёвидиса, только не этого. Не этого. Издавна слышал он, как ругали мужиков, зачем «начали», а чтоб хоть кого-нибудь ругали за то, что не трогал, нет, такого не было. Никогда. Почему же старик Чёвидис теперь? Все у него шиворот-навыворот.

— Да не лез я к Карусе! — почти закричал Юзас.

— То-то и оно. То-то и оно, Юзас. Ты — не как другие. Ты — как ты. А Карусе — к другим. Раз тебя нету, то к другим. И сбесилась... А мужики... Мужикам такую только подавай... Только подавай, Юзас.

Помолчал старик Чёвидис, объяснил:

— Ей страсть как ты был нужен.

— Не понимаю я...

— Да все ты понимаешь, Юзас. Сколько раз рыдала, упав во дворе, землю ногтями царапала: если б он меня взял, папенька родимый, если б захотел меня, ноги ему каждый день бы мыла, косами вытирала, на коленях его обувала... Все ты понимаешь, Юзас. Вот только, чтоб признаться, духу не хватает.

Холод уже не донимал Юзаса, но дрожь била с головы до ног. И он не знал, что ответить старику Чёвидису. Прямо по сердцу резанули его слова.

— За вишенку-то спасибо, Юзас,— сказал старик Чёвидис. — Вишенка — хорошо. Только ты, если ты можешь, Юзас, еще рябинушку для нее. Весной, когда рябинушка цветет, много пчел к ней слетается. Ты посади, Юзас.

И уже другим голосом, не просительно добавил:

— А теперь уходи. Оставь меня одного.

Юзас послушался. Обернувшись с порога избы, увидел: старик Чёвидис снова стоит на коленях. Голова опущена, руки свешены чуть ли не до земли. Перекрестился, наклонился еще ниже. И показалось Юзасу, что не молитву шепчет старик Чёвидис, а потихоньку беседует с дочкой. С Карусе. Юзас осторожно затворил за собой сенную дверь.

Вошел в избу, постоял немного, а когда улегся после захода луны, то и проглядел, лежа на спине, в потолок до зари. Как в ту ночь, когда понял, что ему нужна Винцюне, а он Винцюне не нужен. Совсем как в ту ночь.

Встав поутру, не застал старика Чёвидиса, только два следа от ног протянулись по росе в сторону гати. Ничего больше.

Осенью Юзас посадил рябину, как просил его старик, и рябина цвела каждую весну, дымясь светлыми облачками пыльцы, и пчелы слетались к ней из ульев и колыхались в этих облачках, отяжелев от меда, словно подружки на свадьбе от доброго пива. А у самого подножия креста, в головах у покойников, Юзас посадил три куста шиповника, и те цвели вслед за рябиной и приносили продолговатые малиновые ягоды, набитые черными зернышками, впившимися изнутри в белый искрящийся и колючий пух кожуры.

Вот так теперь жил-поживал Юзас.

14

Однажды Юзас услышал: вздыхает гнедок в хлеву. Натужно вздыхает. Уже давно видел: умаялся гнедок, с ног сбился. Подкладывал для него в кормушку сена подушистее, сыпал овес помучнистее, трепал вечером ладонью по крупу да спине. Ничто уже не шло гнедку впрок. Когда весной запряг его Юзас в плуг, гнедок опустил на колени, ослабив постромки, и застонал, просто как человек. Не работник уже, хоть сейчас к живодеру. Юзас распряг гнедка, отвел на лужок, сказал:

— Пасись.

Не поднялась рука отдать живодеру. И гнедок пасся все лето, с каждым днем все меньше прихватывая травы желтыми шаткими зубами. Вместо гнедка Юзас поставил в хомут трехлетнего савраса, купив его на базаре за сходную цену. Саврас с первого же дня возненавидел гнедка, стал грызть его, пинать копытами, гонял вокруг холма, пока Юзас, взяв добрый кнут, не образумил его. И овцы плодились, и пчелы пускали новые рои, даже хорьки посреди зимы скопом лезли в капканы, принося дорогие, пушистые от морозов шкурки.

Все вроде и хорошо. Вроде и порядок. Ей-богу, порядок. Как и должно быть, когда человек проживет кучу лет.

И в такое-то время опять появился на Кайрабале брат Адомас. Давно его здесь не было. С освящения креста. Юзас даже вздрогнул, до того изменился за эти годы брат. Поседел, ссутулился, и про полусубок его не скажешь, что когда-то был сукном крыт, да и вообще сукном ли, а не каким-то расползшимся ситчиком. И запах от брата уже не тот. Землицей несет. Вошел в избу и тут же уселся, долго молчал, облокотясь на стол.

— Крест,— сказал.

— Ты тоже крест? — переспросил Юзас. — Значит, уже на хуторе, раз ставишь?

— Другие поставили.

Юзас посмотрел на брата.

— Да разве другой будет ставить?

— Всем крест, Юзас,— сказал Адомас. — Теперь то уже всем. Деньги в цене падают, что ни вырастишь, дешевлеет на глазах. Англия литовского бекона не желает больше, а налоги-то все выше и выше. При царе и то столько не драли. Никуда не денешься, никуда не спрячешься от этих налогов! Да еще с хуторами... Залез я в долги повыше ушей, а теперь еще глубже вязну. Еще глубже, Юзас.

— Обожралась Англия твоим беконом?

— Да, говорят, крест и самой Англии. Всюду одна напасть. Намедни младшенький газету домой приносил, читал: всюду кризис, никто купить ничего не может, все продать норовят, только продать. Фабрики стоят, рабочих на улицу выперли. Когда покупать некому, как фабрики не станут? Крест, Юзас. Всем крест.

Адомас помолчал.

— Скрутили меня,— заговорил опять. — Так скрутили, что хуже некуда. За литр молока коробочку спичек не купишь, а налоги все выше да выше. И все в сроки выкладывай, как теперь говорят: пришел срок — на стол! А что положишь-то? За беконом гнался, прорву зерна извел, а где теперь бекон-то? Жри сам, англичанин уже не может! Нашему человеку бекон жрать! Так ведь и курицу наш человек ест, только когда сам захворал или когда курица захворала. А это разве курица? Долго ли продержишься, если сам бекон лопать будешь? Да еще с детьми у меня... Старшенький, Адомас, вроде бы ничего, а вот младшенький — ветер в голове, только и норовит носом в газету уткнуться, книг из рук не выпускает, ему лишь бы от работы отвертеться да лодыря погонять... Это при нашей-то теперешней жизни лодыря гонять?

Говорил, жаловался Адомас, а глазами все на Юзаса да на Юзаса: что тот скажет?

— А еще три девки подрастают,— опять заговорил Адомас. — Год, другой, глянь, и визжат уже с парнями в саду да за гумном. Долго ли ждать беды?

— Когда еще чего будет, а ты наперед плачешь,— одернул брата Юзас. — Да и не все девки визжат-то.

— Для начала мне и двух сотен хватило бы,— сказал Адомас, словно и не расслышал слов Юзаса. — Разве это много? Мне теперь лишь бы налоги заплатить, коровенок от судебного пристава уберечь, и я опять на ногах. Уродятся же хлеба, лен, может, молочный пункт больше платить станет — отбился бы ото всех бед.

— Так ты и двух сотен не наскребешь?

— Говорю же, кризис... Стало быть, не дашь?..

— Сейчас не дам,— смахнул пот Юзас. — Приходи как-нибудь... После базарного дня приходи. Много ли, говорил, надо тебе?

— Раз говорил, так ты и слышал. Не обижусь, если прибавишь сотню-другую.

— Так что после базарного дня. Не припасено у меня теперь столько,— сказал, глядя в сторону.

Ушел брат Адомас без денег. А Юзас долго сидел за столом. Никак не мог взять в толк, отчего пожалел денег. Опять пожалел. И еще брату. Родному брату. Неужто таким скопидомом стал? Нет, Юзас сам себя уже не понимал. Что это с ним?

Юзас долго сидел за столом.

Денег, золотых монеток, Юзас не стал доставать из-под балки. И из глиняного пола не доставал. Пускай себе лежат. Эти-то пускай. Были у него припрятаны и бумажки. Не успел их еще поменять на желтенькие монетки с головой царя. Не столько не успел, как пожалел эти, бумажные-то. Очень уж высокую цену заломили люди за золотые. Мало кто хотел выпускать их из рук, хоть целую пачку бумажных им подавай. Долго ходили эти бумажные по рукам, истрепались, замаслились, не очень-то и на деньги были похожи. Юзас рассовал их по всему дому, даже в амбаре и хлеву между бревнами спрятал. Если вор, то не все сразу найдет. А если пожар: в одном месте сгорели, в другом сгорели, а в третьем, глянь, и уцелели. Доставал теперь Юзас бумажки из кровати, из-под дымоволока, уже малость закоптелые, со дна кисета с табаком. Вытирал каждую о полу сермяги, а управившись с этим делом, пальцы о полу же полу вытер. Эти пускай власть забирает, сказал. Бумажные деньги выпускает, вот ей и бумажные. Опять же, разве власть сыта будет, сунь ей даже золотые в глотку? Новые потребует. Власть никогда сытой не бывает. Пускай теперь и забирает свои бумажные, а золота — на-кась, выкуси золота! И когда Адомас явился после базарного дня, то Юзас протянул ему теперешние деньги, литовские литы, отсчитав ровно две сотни. У Адомаса даже нижняя губа задрожала, до того обрадовался человек.

— Ну и добрый же ты, Юзас, ну и добрый.

— Говорил уже, — одернул брата Юзас. — Про мою доброту говорил.

Но Адомас не успокаивался. Зажал в ладони полученное, поднял выше голову.

— Теперь мне и на Стонкуса наплевать!

Юзас вздрогнул. Так и пронзило воспоминание о Винцюне.

— А тебе-то чего Стонкус? — спросил брата. — В зубах навяз?

— Навяз. Деньги-то у него брал.

— Сбесился ты? Сам же говорил, кризис всех зарезал кругом. Как это всех, если есть у кого деньги одолжить?

— Зарежешь Стонкуса? — рассмеялся Адомас. — Стонкус сам любого в бараний рог скрутит. Вместе со своей Винцюне землю у должников загребает.

— Быть того не может.

— Сходи сам посмотри. В Моцюнай весь фольварк загреб. Фольварк!..

— Не может быть, чтобы Винцюне...

— А Винцюне с самым судебным приставом под ручку гуляет, за одним столом со своими гостями, такими же живоглотами, сидит. Головой ручаюсь.

Весело говорил Адомас, получив-таки деньги, а Юзас молчал, прятал глаза, мрачнел.

— Загнул. Этого уже точно не может быть.

— Загнул?! Да выгляни ты хоть раз со своего болота, погуляй по белу свету, глаза у тебя на лоб полезут, когда увидишь, что кругом творится! Неужто маленький, ничего не видишь? С дедовских времен, со столыпинского времени хутор Стонкусов особняком стоит, деревьями да жиром оброс, не подойдешь к нему, не подступишься. И сукновальня у него на реке Яра, и молотилка. Скажешь, задарма он каждую осень людям хлеб молотит да сукно валяет? У кого еще во всей волости сукновальня есть? Или молотилка? Все у Стонкуса, Стонкуса да у Стонкуса. Потому и заплатишь ты ему, Стонкусу-то, сколько он заломит, а не сколько ты ему дашь. Сам господин Стонкус платить не торопится. Все батраки судятся с ним за жалованье: кому недодал, кому недоплатил, все только себе в карман, только себе.

— Уже и господином его величаешь? — почернел лицом Юзас.

— Мельницу рядом с сукновальней забыл? Сколько наших мешков через его жернова прошло?! А где мелется, там мука сыплется. Не в твой карман, а в Стонкусов, разве не понимаешь? Чем же он не господин?

Юзас молчал.

— Если кризис еще год-другой продержится, Стонкус половину волости в свой карман засунет, вот увидишь. Не только господином, графом тогда назовешь его.

Адомас говорил все веселей и веселей. Деньги он уже засунул за пазуху, и они согревали его. И невдомек ему, что Юзас давно не говорит, а так и набухает яростью.

— Винцюне знала, за кого выходит! — брякнул в довершение Адомас.

— Деньги получил? — сдавленным голосом спросил Юзас. — Деньги, говорю, получил?

— Юзас... — побледнел Адомас. — Да что с тобой, Юзас?..

— Раз получил, гляди, чтоб я назад не попросил! — уже во весь голос загремел Юзас.

Никогда прежде Адомас не видел Юзаса таким. Прижал руку к груди, где лежали деньги, не мигая, смотрел на брата.

— Вот этого ты не сделаешь, Юзас. Ты же добрый...

— Побудь-ка и ты добрым со мной, — медленно, стихая, сказал Юзас. — Сгинь-ка с глаз долой.

Адомас съежился, свободной рукой стиснул шапку, низко склонился перед братом, словно и не Юзас здесь был, а сам господин Стонкус со своей сукновальней, молотилкой да фольварком. И ушел, не сказав больше ни слова. Пятясь, ушел из избы Адомас.

Юзас долго стоял, уставившись на закрывшуюся за братом дверь, и снова не мог взять в толк, почему он так с Адомасом? Шея у того истончала, будто жердь торчит из воротника полушубка, почему же он так?.. Конечно, воля Винцюне была выходить за Стонкуса или не выходить, променять его, Юзаса, на

Стонкуса или не променять, ее это воля и только ее. Но чтобы под ручку с судебным приставом!.. И надо же было Адомасу рот разевать! Взял бы деньги и ушел потихоньку. Винцюне, видите ли, ему помешала!

Юзас покачал головой. Нехорошо стало от таких мыслей. До того нехорошо, что и человеку не скажешь, и сам слезами не умоешься.

А от каких мыслей стало бы лучше?

От каких?

15

И снова жил-поживал Юзас. Покачал головой и жил по-прежнему. И бежали друг за дружкой дни, шли недели, тянулись месяцы. Все чаще и чаще Юзас останавливался перед зеркалом, которое повесил на стену вместо разбитого осколка. Видел: изморозь с висков ползет вверх да вширь, уже и макушку зацепила. И от этой изморози, отраженной в зеркале, Юзас мрачнел еще больше.

Неужто отжил свой век? Неужто отмучился?

И стал Юзас есть мед. Раньше все на базар да на базар отправлял, чтобы денег выручить побольше, а теперь прямо в рот. Не помногу, конечно. Только последний недоумок берет меду помногу. Мигом брюхо бы испортил. Еще дедушка Йокубас наставлял: на кончике ложки рано утром, столько же перед обедом и перед сном не более того.

Неизвестно, то ли травяной настой, то ли пчелиный мед виною, но люди, встретив Юзаса на базаре, стали говорить ему, что вроде помолодел он. Не подыскал ли он, часом, какую-нибудь лауму на болоте, может, даже свадьбу собирается играть этот отшельник, этот колдун с Кайрабале? Юзас редко виделся с людьми, только на базаре, иногда в костеле, а летом на Кайрабале, когда съезжались на покос. И при каждой встрече они твердили ему, что опять помолодел. Юзас и сам видел, что он, не как другие мужчины его лет. Те горбились, иной даже трубку с трудом держал в искрошенных зубах, а Юзасу хоть бы хны. Идет по базару или к костелу прямой и таким быстрым шагом, что не каждый юноша догонит, а голову держит высоко. И люди провожали его взглядами, а потом перешептывались:

— И везет же человеку. Ни ему налоги, ни кризис, старость и та не берет.

Пошли, конечно, разговоры по деревням да хуторам. Некоторые смеялись над ним, а некоторые и нет. Тут, дескать, дело нечисто. Никак Юзас волшебное кадило отыскал в муравейниках на холмах Кайрабале, по ночам окуривает себя дымом, который только в костеле курится. Может, заколдованный корешок выдрал из какой-нибудь моховины? Есть ведь такой корешок, надо только уметь найти его. А может, и того хуже: лаумы, что моют в лунные ночи в болотных окнах свои длинные волосы, заворожили его, чтоб жил долго, а после смерти вместе с ними навек поселился? Неужто зря будет

с человеком так, как ни с кем другим? Столько лет ведь один как перст среди багульника и росянки, где не человеку место, а гадюке полосатой, ящерице да забытой богом букашке!..

Юзас только усами шевелил от таких речей, а вернувшись домой, сразу к зеркалу: правда ли, точно ли? И каждый раз видел: не преувеличивают люди, настоящий здоровяк, каким и в молодости не был.

— А ты приходи,— говорил он иногда тому или другому завистнику. — Дам корешок понюхать.

Завистники, конечно, не шли. Ни один. Не из нежелания помолодеть, а из боязни опростоволоситься перед такими же завистниками. Даже поглядывать на Юзаса теперь остерегались.

И Юзас увидел, что вместо них стали оглядываться на него девушки. Самые юные. То ли слухи про него манили, то ли они и впрямь поверили, что он колдун, но, встретив его, не одна застывала будто вкопанная, краснела, бледнела и глаза прятала. Юзас даже опешил от всего этого: что еще такое?

И тогда опять разговоры по деревням да хуторам: колдун Юзас, девок приворожить умеет.

И никто ведь не знал, не подозревал даже, что совсем не это было в голове у Юзаса. Куда ни шел, что бы ни делал, все зыркал из-под кустистых бровей то в одну, то в другую сторону. В костеле во время обедни и на базаре в густой толчее среди телег то и дело вздрагивало сердце: может, она, может, где-нибудь и она, Винцюне-то? А ее не было. Нигде и никогда.

Какая же девчонка, хоть и самая юная, стройная да румяная, могла заслонить собою, заставить потвскнуть ее, Винцюне?

Не было такой. И не будет, пока жив Юзас.

И не нашлось человека, который бы сказал ему: если женщина не любит, она не только сама тебя не видит, но и ты ее не увидишь. Такими уж сотворил господь женщин, и ничего тут не попишешь. Так что брось оглядываться, скрепи сердце, не ищи больше. Нет, никто Юзасу не сказал этого.

Вот он и возвращался на свое болото с переполненным горечью сердцем, останавливался под вишнями, где покоились солдаты царя и кайзера, а рядом с ними Карусе. И Карусе.

Он помнил ее как живую. С исцарапанными вереском икрами, с белой корзиной из сосновых корней на плече. С корзиной, полной румяных ягод. И со слезами на глазах. Долго стоял у нее в ногах Юзас. Кому же теперь лучше? Ему или Карусе? Карусе явилась сюда из болотного окна и лежит себе. Лежит. А он, Юзас, жив. И дом у него полная чаша. И с каждым днем эта чаша все полнее. И молоденькие дощечки глазами в него стреляют. В него. Так кому теперь лучше-то? Может, и хорошо бы сделал, возьми он тогда Карусе в жены. Правильно сделал бы. Жили бы теперь вдвоем. Худо ли, хорошо ли, но вдвоем. Хоть бы ей было хорошо. По правде говоря, часто ли найдешь семью, где обоим хорошо? Так вот, хотя бы ей, Карусе. А может, и худо

было бы. Когда одна у тебя в сердце злой крапивой сидит, откуда взять место для другой? Одно ведь сердце дадено человеку. И место для одной в сердце. Только для одной. И впрямь возненавидел бы Карусе с первого же дня. Что же тогда? Оба вместе и обоим худо?..

Вот так посреди двора и увидел Юзаса полицейский, прискакавший на сытом коне, украшенном добрым седлом.

— Подпишись тут! — протянул бумагу Юзасу.

— А чего? — вяло спросил Юзас.

— А то, уважаемый, что последнее предупреждение об уплате налогов. Завтра, уважаемый, надо явиться в волостную управу, в противном случае будешь, уважаемый, доставлен под стражей!

Полицейский вскочил обратно в седло и умчался вскачь по гати.

Он сказал не все. Юзас вычитал в бумаге, что ему надо не только явиться в волостную управу, но и заплатить налоги за все годы. Если он этого не сделает, хозяйство будет пущено с торгов.

И Юзас решил сходить.

Стоял он в управе перед старшиной, сидящим за столом, держал в руках шапку и молчал. И старшина молчал. Юзас чувствовал, что густой пот проступил на висках.

— Ну? — поднял голову старшина. — Так и будем играть в молчанку?

— Не должен я властям. Сколько раз уже старосте Дуобе говорил, опять повторять надо?

— Не должен? Сейчас я вам кое-что скажу. Садитесь!

— Постою. Не барин.

Старшина пронзил его взглядом.

— Вот что я вам скажу. Мой отец с вашим отцом в армии служил, вам понятно? В царской армии. Все мы литовцы, заодно шли. После царя за независимую Литву сражались. Только потому я с вами еще разговариваю. Давно бы проучил за злостное уклонение от налогов. Вам понятно, что я говорю?

Юзас молчал.

— Я жду.

Юзас молчал. Старшина, хоть он и в тонкой барской сорочке, ума, по-видимому, не очень-то далеко. Сказано же было ему не раз и повторено, что не должен он, Юзас, властям. Никогда и ничего власть ему не давала. Да он и сам у нее ничего не просил. Чужого ему не надо. За всю жизнь ничего чужого не взял. Болотные налоги каждый год вносит, квитанции может предъявить, если надо. А что он сам плугом распахан да этими вот руками раскопал, так ведь для себя же. И семена сам посеял. И сад развел. И гать проложил по болоту, чтоб можно было проехать. Ничего же этого до него не было. Может, сто лет никто гать не прокладывал, а он, Юзас, проложил. И ездит по ней. За что же налоги? И сколько раз еще придется об этом долбить? Сорочку тонкую напялил, а ума ни на грош!

— Вы меня удивляете, — снова заговорил волост-

ной старшина. — Один такой на всю волость. Откуда и взялся на мою голову? Подумайте хорошенько, вы ведь в государстве живете. На чем государство будет держаться, если все начнут, как вы? Об этом-то подумали? На что государство будет школы строить, дороги прокладывать, полицию нанимать для поддержания порядка да охраны спокойствия? На что оно, наконец, будет содержать войско для защиты нашей свободы и независимости?

— Полиция-то мне не нужна, — сказал Юзас.

— Может, вам и Литва не нужна?

— На что мне полиция на Кайрабале?

— Не вся Литва на Кайрабале!

— Да мне и не нужна вся Литва. На Кайрабале умещаюсь.

Старшина так и оторопел от этих слов Юзаса. А Юзас глядел на него исподлобья.

— Кусты корчевал, корни выдирал, гать проложил, вот, — показал Юзас старшине обе ладони. — Этими!

— Ваше трудолюбие нам известно, — сказал старшина. — Что вами сделано, на совесть сделано. Всей Литве на пользу. А платить все-таки надо. За обрабатываемую землю, можете вы понять?

— Трясина бы трясиной оставалась... — продолжал Юзас. — При дедушке Йокубасе трясина была, при отце... С сотворения мира была трясина, если по правде. И теперь бы трясина трясиной. А если я воду спустил, распахан, так мне еще и платить? Спасибо от вас не жду, хоть и следовало бы, но и платить нету дураков.

Теперь они стояли друг против друга. И глядели прямо глаза в глаза.

— Вы анархист! — не выдержал старшина, вскочив на ноги. — В тюрьме ваше место. За нарушение законов, вам понятно?

Повернулся старшина с этими словами к столу, хотел сесть на стул, но в гневе промазал. Шлепнулся бы на пол, но ухватился руками за край стола, навалился грудью. Юзас в самое время подхватил его под мышки, помог усесться куда следует.

— Спасибо... — сказал старшина, отвернувшись.

— Я не нарушаю, — отрубил Юзас.

Старшина долго глядел на столешницу.

— Не такой уж вы дурачок, — начал опять. — Прошу и меня не считать чем-то подобным. И прошу вас запомнить то, что сейчас скажу. Не как старшина, а как человек человеку: конец комедиям. Разрешаю вам еще сегодня рассчитаться с государством. Цент в цент. И предупреждаю: позднее, чем сегодня, будет поздно. Вот за этой дверью, — ткнул пальцем старшина, — за этой дверью найдете, кто принимает деньги. Прошу вас!

Юзас крепче сжал в руке шапку, но с места не двинулся.

— Что еще? — уставился на него старшина. — А! Вы, стало быть, не прихватили с собой денег, как было велено в документе? Ну, ради знакомства наших отцов... даю вам время до двенадцати часов завтрашнего дня. Вот так. Ровно в полдень цент в цент, уважаемый!

Но Юзас и теперь не шелохнулся.

— Прихватил я деньги. При мне они.

Старшина побарабанил пальцами по столу. Его лицо посерело.

— Так... чего вы пришли? — спросил он совсем тихо.

— Сказать пришел, чтоб бумажки ко мне на Кайрабале больше не посылали и чтоб полиция не являлась зря. Не нужна мне полиция.

Сказав это, Юзас направился к двери.

И увидел, что старшина еще больше посерел лицом. Стоял он за своим столом, а подбородок у него дрожал. Денег-то Юзас с собой не прихватил. Неправду он сказал старшине. Сам не знал, почему солгал.

16

Встав поутру, как всегда, еще до рассвета, Юзас увидел, что во дворе стоит брат Адомас.

— Опять беда какая?

Адомас стоял, нахохлившись, оттопырив нижнюю губу, глядел на него покрасневшими глазами.

— Не у меня беда, — сказал. — У тебя беда, Юзас.

— С какой это стороны?

— Да с той самой, Юзас. Старшину вчера разозлил. Вся полиция волости на ногах. Вчера Адомелис в Мальдинишке допоздна засиделся, видел.

Адомас помолчал.

— Арестуют тебя, Юзас.

Теперь помолчал Юзас. Чувствовал, боится брат. Перепуган. А чего бояться-то? Правда ведь на его, Юзаса, стороне. Не на чьей-нибудь другой. Раз старшине так хочется, пускай еще раз присылает на Кайрабале судебного пристава. Много ли взял прошлый раз пристав? Не больше возьмет и теперь. Постучит своим деревянным молотком и обратно с Кайрабале. Пускай присылает!

— Почему ко мне не пришел? — спросил Адомас с горечью. — Не брат, не родня, не свой я тебе?

— А чего? — спросил Юзас. — Чего мне идти-то?

— Одному дал, другому сунул, так, может, говорю, самому теперь туго? Почему мне не сказал? Как брат брату. Все бы собрались, наскребли для этого старшины, чтоб голова была спокойна.

— Зачем скрести-то? Есть у меня деньги.

— Погоди... Есть и не платишь?!

— Не за что мне платить.

— Опять свою песенку поешь... Послушай, Юзас, с властями не задирайся. Где это видано, чтобы власть правду от человека выслушала? Скрутят тебя в бараний рог, оглянуться не успеешь!

— Это и пришел сказать?

— Не только это. Отнеси-ка ты им налоги, Юзас. Отнеси, не задирайся! Знаешь, как они теперь все бесятся?

— Чего же бесятся? Неужто из-за моих налогов?

— Твои налоги для них беда не главная. Время меняется, Юзас. Неужто не видишь, не замечаешь, засиделся на своем болоте. Повсюду люди судачат, что кончается эта власть, другая будет. А когда

власть рушится, зубы у нее длинные. Лучше в сторону отойти, когда она рушится.

— Откуда новая власть-то? — уставился на брата Юзас. — Приснилось тебе?

— Не время теперь для снов, Юзас. Адомелис новости принес из Мальдинишке. Времена меняются. Так меняются, что и во сне не увидишь. Говорил и опять скажу: лучше по-хорошему, Юзас. Если надо, скажи слово, все сложимся, наскребем для старшины, пускай подавится перед концом! Может, и Уршуле поможет. Своя же, сестра.

Юзас помолчал. Потуже затянул ремень на брюках.

— Говори, да не заговаривайся, Адомас, — засмеялся прямо в лицо брату. — Сильной власти не платил, так чего же теперь, когда она, как ты говоришь, рушится?

— Юзас, брось шутить. Осенью, перед тем как подохнуть, даже муха больней кусает. А тут надеются под конец тебе хлопот — до гробовой доски не забудешь!

Юзас снова помолчал.

— Не видать старшине моих денег, — сказал жестко. — За то, что вспомнил, доброту показал, спасибо тебе, Адомас. А уму-разуму меня не учи. Не швырял я денег на ветер и не буду.

Братья расстались, так и не поладив. Адомас побрел домой, Юзас — к своим делам. Налоги в волость он так и не понес. Ни в тот, ни в другой, ни на третий день. И даже забыл про все угрозы старшины. Да и полиция, которую пророчил брат Адомас, носу не совала на Кайрабале.

И вот однажды тихой и душной летней ночью проснулся Юзас ото сна. Только что забылся первым крепчайшим сном и не сразу сообразил, что выбросило его из постели. Уселся в одной сорочке, свесив босые ноги на пол, с гудящей головой и долго моргал глазами в темноте. Только посидев так добрую минуту, понял, что не в голове у него гудит, а за избой, на гати через Кайрабале, а то и еще дальше — на дороге, ведущей в Мальдинишке. Гудит и грохочет, скрежешет и лязгает, будто сотни лошадей с маху бьют копытами... Юзас вышел во двор. Небо было розоватое, но не со стороны восхода, а там, где дорога на Мальдинишке. Юзас постоял, взобрался на самую вершину холма, остановился среди медных стволов сосен и долго глядел в сторону непонятного гула. Вся дорога на Мальдинишке вспыхивала огнями, грохотала, дребезжала, лязгала, и ветер нес с той стороны невкусный дым.

Юзас долго стоял среди сосен.

«Неужто война? — думал. — Неужто опять?»

Перед самым рассветом осела пыль. Сильнее подул проснувшийся восточный ветер, унес в сторону Мальдинишке лязг и грохот, невкусный дым.

И показалось Юзасу, что ничего и не было ночью, померещилось ему во сне. Снова всходило солнце, раннее, юное, умытое в холодной росе. Как каждое утро посреди лета. И журавли проснулись в камышах Кайрабале, утки повели своих деток учиться плавать в болотных водах, закричала сойка в ча-

щобе, загоготали гуси, и голуби уже били по воздуху темными неуклюжими крыльями, а по листочкам чахлых, вечно голодных березок катилась роса. Нет, и впрямь не было этой ночью ничего такого, чего не бывало другими летними ночами. Юзасу то верилось, что ничего не было, то не верилось. Опять поднялся на вершину холма, где стоял ночью среди медных сосен, смотрел вдаль на дорогу, уже пустую, затихшую, покрытую серой пылью. Такой была эта дорога и вчера, и позавчера. Такой она была тьму лет.

А по гати через болото торопился к хутору Адомас.

— Видал? Слышал? — громко сказал еще издали. — Власть рушится!

— Что рушится, не слышал.

— Рушится, Юзас! — подбегая поближе, уверял брат Адомас. — Считай, уже рухнула, нету больше власти!..

— Считаю, что ты сдурел, Адомас, — незлобиво сказал Юзас.

Адомас растерялся, стал лезть на холм к Юзасу, не спуская глаз с брата. Остановился перед ним, развел руками.

— Или я не так расслышал?..

— Где ты видел, чтобы власть рушилась? Власть только меняется. Тебе лишь бы языком молоть.

— Да правда же, Юзас! И мой Адомелис так говорил. А он-то знает. Спозаранку ускакал куда-то на лошади, рад до смерти.

Юзас ничего не ответил брату. Постоял, помолчал, стал спускаться с холма к избе. Адомас все еще никак не мог успокоиться.

Молча шагали рядом братья, молча уселись под окном избы, как усаживались всегда, когда на Кайрабале появлялся Адомас. Курили каждый свое и оба молчали. Теперь уже все до единой птицы на Кайрабале чирикали, свистели, гомонили. Роса опала, потеплел восточный ветер, напоенный запахами мха и живицы. День обещал быть солнечным и жарким.

— Чему же так радуется твой Адомелис? — вынул из зубов трубку Юзас. — Большевиков ждет?

— А ты кого ждал, Юзас? Англичан? Или, может, американцев?

— Были уже большевики.

— Или, может, немцев? Немцев тебе, Юзас?

— А радоваться-то чему?

— Так уж и нечему? Мой Адомелис говорит: лучше будет, справедливости больше. И Шаркюнас так говорит. Оба говорят.

— Шаркюнас? Этот кузнец из Мальдинишке?

— Был жузнецом. Тебе, Юзас, я не говорил, но мой Адомелис давно уже с Шаркюнасом. Поначалу ругал я Адомелиса, а теперь вижу, хорошо получается. И для тебя хорошо, Юзас. Уже получилось куда как лучше.

— Так-таки и мне?

— А налоги, Юзас? Мы-то маху дали, все заплатили, а ты так и не раскошелился, а теперь ищи-свищи твои налоги! Чего же тебе еще не хорошо?

Юзас долго молчал.

— А мне-то что? — сказал. — Шаркюнас или не Шаркюнас, мне-то что? В закрома мне никто ничего не положит. Пашу, сею, живу.

— Да какая у тебя жизнь! Не видишь, что кругом творится? Полные дороги людей, флаги подняты, поют, играют... Адомелис, перед тем как ускакать, сказал: митинг будет, какого никто еще в Мальдинишке не видал. А потом уже и в Каунас!

— В Каунас-то зачем приспичило?

— Говорят, и там митинг. Всем митингам митинг, чтобы вся Литва знала! Поезда, автобусы, грузовики задаром повезут всех людей в Каунас, а после митинга из Каунаса. Задаром, Юзас! Туда задаром и обратно задаром. Слышал где-нибудь такое?

— Такого уж точно нет.

— То-то же! А еще ты говоришь, Юзас, что тебе не нравится!

Адомас весь словно светился.

— Такого и не услышу, — сказал Юзас.

Теперь Адомас посмотрел на брата, снова не поверив своим ушам.

— Так всем ведь сказали, Юзас!

— Рад бы поверить. Но ведь и коняга конягу задарма не почешет, а тут разве коняга? Паровоз тянет, вагоны бегут, колеса стираются, уголь сгорает, кто тебя повезет задаром? Ищи вдоль да поперек, такого дурака не сыщешь. Нигде не сыщешь, Адомас.

— Так... так что же получается, Юзас? — развел руками Адомас. — Если все так, как ты говоришь, что же тогда получается? Повеситься, и только.

Не сразу ответил Юзас брату. И не ответил, а спросил:

— Зачем же ты теперь пришел, Адомас?

Опешил Адомас от этих слов Юзаса. В который уже раз сегодня не нашелся что ответить.

— Раньше приходил только с бедами, — сказал. — Говорю, хоть раз-то с радостью... С чего ты рассердился, Юзас?

— Гляжу, — сказал Юзас. — Я гляжу, Адомас.

— Да не теми глазами глядишь. По твоему разумению, надо отшельником сидеть, сухую корку жевать да новых бед ждать? Не получается уже так. До черта опостытели всем налоги, долги, повинности дорожные. Вот и зашевелились люди. Один ты ничего не видишь. Не может быть худо, когда все люди заодно!..

— Зачем же ты пришел? — помолчав, снова переспросил Юзас. — Раз уж тебе все как на ладони, раз в Каунас задаром решил прокатиться? Иди тогда, катайся, митингуй, воля твоя.

Юзас снова принялся набивать трубку. Словно ждал, чтобы брат побыстрее ушел, или просто не видел его, сидящего рядом.

— Юзас, — негромко окликнул Адомас.

— Ну?

— Так ты не думаешь, что будет лучше? С новой властью-то лучше?..

— Кое-кому будет, — выпустил клуб дыма Юзас. — Помолчал, добавил: — Кто с властью.

— Так, может, мы все дурни, а ты один с головой?

— Тебе своей головы не предлагаю. И твою голову не ругаю. Как у тебя выходит, так и поступай. Одно скажу: оглядись вокруг, чтоб беды на свою голову не накликать.

— Какую беду еще ждешь, Юзас? Коли знаешь, скажи, будь человеком.

— Дедушку Йокубаса забыл? Сколько раз он нам твердил: власть меняется — у людей кости трещат. Не помнишь? Царь когда валился, как было? Германец когда бежал? А когда большевики отходили? Святую правду говорил дедушка Йокубас.

Адомас молчал. Юзас видел: думает брат. Тяжело думает. Не легче было и ему, Юзасу. Сидел на скамье, облокотясь на колени, низко согнувшись, и глядел в землю. Сам не знал, правильно говорит или неправильно. И жалко ему было брата Адомаса, так обрадовавшегося новой власти, и не уверен был, что не стоит радоваться ему самому. Может, и впрямь лучше будет, больше справедливости. Ему-то что, Юзасу, как сидел на Кайрабале, так и будет сидеть, а брату, может, и впрямь? Семейство большое, налоги заедают, забот хоть отбавляй... Может, и впрямь?

— Рано песни петь и плакать рано, — сказал не то самому себе, не то брату Адомасу. — Вот поглядим, тогда и начнем.

— Юзас, — тихонько окликнул Адомас.

— Ну?

— Заморочил ты мне голову, Юзас.

— Хорошо, если я. Если только я.

— Послушай, Юзас, — помолчав, заговорил Адомас, — в беде меня всегда на твой хутор тянет. Если опять беда, поможешь ли? Не мне, не мне! — поторопился добавить, когда Юзас уставился на него. — Моему старшенькому. Всюду ему надо, с кузнецом Шаркюнасом всюду он первый, ну, а вдруг... Так ведь у первого же и голова с плеч!..

Пот прошиб Адомаса, пока он выговорил эти слова. Вытирал пот ладонью, попутно сметая со щеки и слезу, совершенно некстати выкатившуюся из глаз. Юзас молча глядел на него.

И Адомас больше не проронил ни слова. Встал с лавки, положил Юзасу руку на плечо и стиснул так, что Юзас едва не вскрикнул. И тут же побрел со двора. Шагал, не оборачиваясь, по гати к берегу Кайрабале. И Юзас снова увидел, какой все-таки доходяга этот Адомас. Даже когда приходил сюда с настоящей бедой, когда деревню делили на хутора и долги душили людей, не выглядел так худо. Совсем жалким стал Адомас. И терпкий комок зажал Юзасу горло. Глядел, не спуская глаз с брата, как тот идет, уже подошел к концу гати, добрался до зарослей берестяника, вот и пропал из виду...

Нет, не помнил Юзас такого лета, какое занялось в этот год. Трава просто буйствовала, коровы чистые сливки давали, поэтому и пахталку Юзас сушить не

успевал: масло подгоняло масло. Солил он его крупной сероватой солью и складывал в глиняные ушастые горшки. На базар возить не стал, как раньше. Какой нынче базар, раз с властями такое? Горшок за горшком солил и ставил в кладовку, в прохладную тень, где зимой и летом пахло невысыхающей землей, где поблескивали полки зеленоватой плесенью. И еще Юзас делал сыры. Большие, толстые, прослоенные пресным маслом. Укладывал их на доски на свежем воздухе, на солнцепеке, и сыры, твердея, загорались чистым золотом. Когда сыр настолько затвердевал на солнце, что не только зубами, но и топором не возьмешь, относил его на чердак и укладывал на сквозняке на досках, уже на других. А раз травы так буйствовали, то и пчелы с другой ношей. Не один, а два раза брал Юзас мед из ульев.

В одно воскресное утро Юзас подумал, что зря он теперь завелся с этими сырами да маслом. В одиночку разве умнет столько добра, разве сносит все эти овчины, сукна да домотканины? А раз оно так, то почему бы не присаживаться почаще под окном, не порадоваться, что ты жив, что роса катится по листочкам, что истод умывает цветочки и птицы гомонят по всему болоту? Надолго ли ты приходишь на землю? Так ли уж много дано тебе погулять да всего повидать? Стоит ли маяться с работой день-деньской, копить, собирать, беречь? Не правильнее ли было бы пожить просто так, с прохладцей да полегче? Ведь и с властями теперь... Была одна, сейчас другая, может, будет еще третья, и жизнь снова пойдет иная, разорит, расколошматит все кругом. Юзас вспомнил, что говорили люди про новую власть в Мальдинишке сразу после войны, после первой мировой. Людей во власть призывали из самих людей, а не каких-нибудь бар. И тут же разлетелись комиссары по деревням. На телегах да верхом. Переписали, осмотрели землю, леса, поместья, в каждое из этих поместий по своему человеку поставили, чтоб порядок был, как говорила эта власть, чтобы людям стало лучше, сытнее, чтобы земля не стояла под паром, чтобы лесов никто не изводил. Может, и дала бы что хорошее эта власть, но пробыла она только год, от силы полтора, а много ли сотворишь за год или полтора?.. Потом другая власть появилась. Эта — бар обратно в поместья, людей, которых большевики понаставили, многих в тюрьму, а кое-кого и к стенке. Эта власть подольше, лет двадцать или более того продержалась. А теперь ее нету, другая пришла, точнее, не другая, а та, что уже была здесь, в Мальдинишке. И кто скажет, сколько она продержится?

Юзас сидел на лавочке под окном.

И вздрогнул от голосов на дороге. Шли люди. Много народу. Будто на храмовый праздник выбрались, хотя и не такой был день. И шли не с молитвенниками в руках да с букетами цветов, пересчитывая каждый про себя грехи, которые придется выложить ксендзу, опустившись на колени перед исповедальней и прикрывая рот тем же молитвенником, чтобы ксендз слышал, а кроме него никто. Сейчас люди пели. И даже на ходу играли на гармониках.

А другие ехали, и многие не сидели, как положено, а стояли в телегах. И эти тоже играли на гармониках. Все долгое утро. До полудня.

Ни то ни се.

И тут Юзас увидел, что по гати приближаются к хутору паренек с девушкой. Ни паренька, ни девушки Юзас не узнал. А они шли и уже издалека улыбались ему. Паренек нес на груди сундучок, обитый кумачовой материей, а девушка шла с пустыми руками. Не совсем с пустыми, правда, а с листом папоротника в руке. Сорвала, видно, по дороге.

— Здравствуй, дядя Юзас! — весело сказал паренек.

— Здравствуй, раз пришел. А кто такой будешь?

— Не узнал, дядя Юзас?

Юзас взглянул в паренька.

— Не Адомаса ли?..

— Он самый, дядя Юзас, он самый. Сын Адомаса и сам Адомас! — рассмеялся паренек. — Адомелис. Два Адомаса у нас в доме.

— Здравствуй, раз Адомас, — сказал Юзас.

Но руки не протянул. Такая у него была привычка: с родней за руку не здороваться. Даже брату Адомасу не подавал, когда тот приходил. И с Уршуле не ручкался. Повернулся к девушке. Та стояла, опешив от того, как он встретил Адомелиса. Ладная девушка. Статная, будто липа, лоб высокий, глаза голубые, волосы — точно лен. Хорошие девки выросли после войны.

— Это дядя Юзас, — поторопился объяснить Адомелис, — это Аделе... Из Плундакай она, понимаешь? Мы вместе.

— Раз вместе, зачем оправдываться? Здравствуй, — протянул Юзас руку девушке.

Аделе зарделась, подала свою, не отрывая глаз от Юзаса.

— Видишь, что творится, дядя Юзас? — повеселев, заговорил Адомелис.

— Гляжу.

— Весь народ голосует! Трудовой народ — все до единого!

— Значит, голосовать идут?

— Как видишь, дядя Юзас, все как есть! Новую власть выбирают. Народный сейм! Покончено с господами паразитами. Своя власть у нас теперь будет!.. Все как один сегодня голосовать. Все!

— Хорошо, когда все, — сказал Юзас. — А теперь прошу в дом, к столу. Гостями будете.

— Спасибо, дядя Юзас, — отозвалась Аделе. — Но Адомас не так сказал. Не все до единого идут голосовать. Вы на него не сердитесь, дядя Юзас.

— Это только больные или дряхлые, — объяснил Адомелис. — Но им и ходить не надо. К таким мы сами приходим. Вот и урна у меня, а у Аделе списки избирателей. И к тебе за этим самым пришли. Голос взять.

— Таким уж дряхлым меня посчитали? — усмехнулся Юзас. — Хворым?

Девушка рассмеялась.

— А вы шутить умеете, дядя Юзас. Какой же вы старик?! Сто лет еще жить будете!

— Не из-за старости мы, дядя Юзас, — подхватил Адомелис. — Из чуткости. Подумали: уходить тебе трудно, не на кого хозяйство оставить, почему же нам не заглянуть по дороге. Вот и пришли.

Юзас молчал.

— А бюллетень опускать сюда! — Адомелис показал узкую щель на крышке кумачового сундучка.

Но Юзас и теперь не сказал ни слова. Даже с места не тронулся. Словно и не слышал, что ему говорят, и урны для голосования не заметил. Адомас с Аделе переглянулись, ждали, что теперь он скажет или сделает. А Юзас словно позабыл про своих гостей. Сидел и молчал. И эти двое не знали, почему он так. А Юзас думал, что уже были выборы. И не одни. Когда большевики отступили, многие пошли к урнам. Даже пастух из их деревни Мадейкис отпросился от стада, ушел в Мальдинишке и пропал на весь день. Говорили, что теперь выбирают уже точно свою власть. Литовскую. И что будет теперь не жизнь, а рай просто. И тут же увидели, едва эту власть выбрали, что рая им не видать, новая власть налоги дерет похлестче, чем царская, лен везти на продажу в Ригу не разрешает... Царь хоть и чужой был, не литовец, русский, а в Ригу разрешал: езжай, если хочешь, да продавай, что имеешь, и деньги домой привози, сколько выручил. А едва свою власть выбрали, как не позволяют. Сказали: теперь между Литвой и Латвией граница. Долго плевались люди, а потом услышали, что опять надо идти голосовать и что сейчас власть уже точно будет своя. В этот раз пастух Мадейкис не стал отпрашиваться, а люди, когда шли голосовать, опустили бюллетени в урну и вернулись. Вот так было тогда. А выбранная ими власть и года не удержалась: весной люди за нее голосовали, а в рождественский пост грянула из Каунаса весть, что нету власти-то — ночью подъехали на танках офицеры к сейму, разогнали всех, президента Казиса Гринюса в его собственном доме заперли, и теперь опять власть другая. Не людьми выбранная, а сама пришедшая. И президента эта власть поставила другого: уже не Казиса Гринюса, а Антанаса Сметону. Вот так оно было. Несколько лет продержался этот Антанас Сметона, и опять пришла весть, что власть готовит новые выборы. Только не сейма, а президента. И не выборы, а перевыборы президентом того же самого Антанаса Сметону.

— Дядя Юзас, нельзя ли побыстрее? — попросил Адомелис.

Юзас вздрогнул, словно проснувшись. Обвел взглядом гостей.

— Обойдусь, — сказал. — Без голосования обойдусь.

Адомас с Аделе снова переглянулись, потом оба повернулись к Юзасу. А он молча набивал трубку, затапливая самосад ногтем большого пальца. И, только раскурив ее, сказал:

— Столько лет обходился и теперь обойдусь.

— Так, дядя... вы нас выгоняете? — сказала Аделе.

— Не звал, не выгоняю. А раз в избу не заходите, гостями быть не желаете, так чего время зря терять?

— Послушай, дядя Юзас! — всполошился Адомелис. — Как ты не понимаешь?! Идет же голосование, на сто процентов надо провести, а ты на попятную! Осрамить меня хочешь? Меня и Аделе?..

— Подожди, Адомелис, не горячись, — взяла его за руку Аделе. — Не надо так...

— А как надо? Раз знаешь, научи! — так и кипел Адомелис. — Дядя! — он снова обернулся к Юзасу. — Неужто и впрямь не понимаешь, в какие исторические дни мы живем и насколько важны сейчас выборы в сейм?! Если это на самом деле так, то ты, дядя Юзас, один такой во всей Литве остался!..

Не сказав ни слова, Юзас встал с лавочки. Направился к Павирве, шел медленно, волочил ноги. Уходил вдаль.

Он не видел молодых, повернувшись к ним спиной, но знал, они тоже уходят.

Юзас снова был один. Трубка погасла в зубах. Он держал ее в руке, а сам неотступно глядел в ту сторону, где пропали из виду эти двое. Адомелис и Аделе.

18

Уже осенью Юзас спохватился: железо-то в доме кончилось! И не только железо. Керосин в бутылки из темного стекла на самом доньшке, и соль вот-вот кончится. Надо в Мальдинишке. Пока распутица не началась, надо ехать.

На рассвете, покормив скотину и кур, Юзас выбрался в путь. Миновал гать, взобрался на холм, а там уж выкатил на дорогу, петляющую по горам да долам. И удивился: раньше в такую пору крестьяне пахали зябь, скотина лениво жевала травку, тронутую первыми заморозками, а подпаски, собравшись вместе, пекли картошку в костре на краю поля, перепачкав сажей губы и щеки, а теперь ни человека, ни коровы, только паутина поблескивает на ржище. И так до самого хутора Каулакиса. Американцем прозвали люди этого Каулакиса. Было время, когда он оставил в избе молодую жену с первенцем и уехал в Америку «сколотить капиталец». Не хотел сидеть на клочке земли, доставшемся от отца, где, стоя на одной меже, с легкостью до другой доплывешь. Восемь лет выдержал Каулакис в Америке. Молодая жена его Она сама пахала и боронила, сеяла и косила, сама зерно молотила и на базар с товаром ездила, а воскресными вечерами, когда кругом звенели песни и переливалась гармоника, сидела на крыльце, глядя вдаль, куда убегала белая дорога, и каждый знал, почему сидит так. Потому и сбежались многие, когда в один из воскресных вечеров появился Каулакис с двумя тяжелыми чемоданами в руках, и глядели, как этот Каулакис, войдя во двор, опустился на колени и губами приник к земле — прямо к земле. Потом уже сына сгреб в охапку. Сына, подростшего настолько, что хоть в подпаски отдавай. А другой рукой обнял за шею Ону. И стояли они втроем, пока сбежавшиеся женщины не зарыдали в голос. А потом Каулакис разобрал часть избы,

построил высокую горницу, а чтобы сама изба не была ниже новой горницы, под низ, на фундамент, положил два новых венца, и изба сровнялась с горницей. Когда настало время расселяться по хуторам, Каулакис попросил прирезать ему трясину, чтобы хоть и негодной, но побольше земли досталось. Многие острили тогда, а Каулакис выкопал в трясине канавы, спустил воду, и все увидели: пашет Каулакис. Трясину пашет! Где пигалицы и дикие утки выводили птенцов, трясину, от которой даже свиньи, пробегая, отворачивались, пашет! Заткнулись зубоскалы. А Каулакис взял в дом батрака и девуку, заставлял работать их, как самого себя, так, что у всех кости трещали. Много лет так. Пока хозяйка Она не нарожала своих работников и пока те не научились держать в руках плуг или косу. Отпустил тогда Каулакис батраков, своим семейством со всеми работами управлялись.

И вот, вспомнив об этом, Юзас увидел, что не пустует теперь поле Каулакиса, а целая толпа людей по нему шныряет. Шагают, кричат наперебой, белой орешниковой саженью землю меряют, потом, набросав бугорок земли, забивают толстый кол и, покрывая, несутся дальше с орешниковой саженью. И Юзас увидел, что сажень держит в руках не кто иной, а Адомелис, сын его брата Адомаса. В кожаной фуражке, какой у него сроду не было, в пиджаке кожаном до колен или даже ниже колен. Юзас придержал лошадь.

— Еще чего вытворяешь?

— Землю раздаем, дядя Юзас! — весело сказал Адомелис. — Все до одного поместья и кулацкие хозяйства. У кого много, отрежем, у кого мало, добавим. Пускай пахут, живут люди.

— Земля для тех, кто ее обрабатывает! — крикнула из толпы девушка, и Юзас узнал Аделе. — По справедливости, дядя Юзас!

Стояла она веселая, раскрасневшаяся и улыбалась ему.

— Выходит, Каулакис не работает?

— Батраков он держал, кулак он, дядя Юзас. Неужто не знаешь? Теперь этому конец. А еще, — сказал Адомелис, — Каулакис сам попросил, чтобы мы взяли. Кулак-то он кулак, но понимает: настало время поделиться с неимущими. Если не веришь, сам у него спроси, дядя Юзас.

Юзас только теперь увидел, что среди галдящих стоит и Каулакис. Выше всех на голову, седой как лунь. Смотрел он на Юзаса и улыбался половиной рта.

— Все равно заберут, — сказал Юзасу. — Лучше уж сразу, по-хорошему.

— Зато ему тридцать га оставляем, — объяснил Адомелис. — За сознательность. Других подрезаем до двадцати, а Каулакиса нет!

Юзас, никому больше не сказав ни слова, подстегнул лошадь.

В Мальдинишке он остановился перед лавкой Конеля. Как останавливался всегда, когда в доме кончалось железо. У двери прямо на булыжнике мостовой всегда лежали железные полосы. На выбор,

длинные и короткие, широкие, поуже и совсем узенькие, толстые и тонкие, и даже такие, что железной полосой не назовешь, а просто проволокой. И, кому нужно было какое железо, тот показывал большим пальцем, сколько отчикнуть, а Конель тут же проводил черту куском белого мела, клал полосу на большой камень, торчащий из мостовой, Конельша ставила рубило лезвием на метку, держа его за длинную деревянную рукоять, а Конель брал в руки молот и так шибал по обуху рубила, что звон шел до самого костела и весь городок знал: к Конелю пришел очередной покупатель.

В самой лавке, глубокой и мрачной, поблескивали деревянные ящики, сияла жесть, прислоненная к стене, а у другой стены стоял выщербленный стол со множеством ящичков, в ящичках были гвозди, тонкие и толстые, длинные и короткие. Каких ни попросишь, Конель сыпанет на тарелку весов и взвесит точно, хоть ты католик, а Конель — не католик. И не было свободного клочка пола в лавке, везде извивались железные цепи, толстые, смазанные жиром, чтоб не ржавели, валялись путы, которые надевают лошадям на ноги в ночном. И косы выстроились рядами, завернутые в промасленную бумагу, и молотки, чтоб их править, керосиновые лампы и стекла для этих ламп, белые фитили для фонарей и еще какие-то непонятные предметы. Никто, кроме Конеля, не продавал железа в Мальдинишке и никто во всей волости так хорошо не знал, кому и что нужно, как знал Конель. В лавке полумрак, день это или ночь, лето или зима. А чернее всего в ней сам Конель. Ну просто дьявол с черными, будто деготь, волосами, кудрявящимися на голове и толстой шее, с кустистыми бровями и огненным взглядом, глядишь и нагладеться на него не можешь. И даже запах свой был у Конеля, какого не было ни у кого другого ни в Мальдинишке, ни во всей волости. Едкий, острый, настоящий мужской запах.

Так что Юзас остановил савраса перед дверью Конеля. И даже зажмурился на минутку — не поверил тому, что увидел. Камень напротив двери, торчащий из мостовой, еще был, а от всего прочего ни следа. Булыжник чисто подметен, соломинки не увидишь. Постоял Юзас, вошел в лавку. Конель сидел, низко склонившись, за длинным щербатым столом. Может, это Конель, а может, и кто-то другой. Сутулый, с опущенными руками, с седой прядью в волосах. Юзас в полумраке огляделся в лавке. Нету на столе ящичков с гвоздями, нету на полу цепей, не видно и кос, завернутых в промасленную бумагу.

— Здорово, Конель, — сказал Юзас. — Как живешь-можешь?

— Здорово, Юзас, здорово! — встал за столом Конель. — Здравствуй, давно у меня не был, Юзас!..

— Что же так лавку разбазарил, Конель? Не вижу железа, ничего не вижу.

— А много тебе железа надо, Юзас?

— Много или мало, откуда ты его возьмешь? Будто подмели твою лавку.

— Кто спрашивает, откуда возьму, Юзас? Конель спрашивает, много ли тебе надо?

— Не скажу, что много. Зима вот на носу, самое время полозья у саней сменить. А тут и весна заставит ли себя ждать? На лемех надо, десяток зубьев для бороны, ну, хорошо бы еще на ободья. Ты, правда, не смеешься, Конель? Откуда достанешь для меня железо?

— А где ты был, Юзас, когда железо было? Месяц назад железо было, а тебя не было. Люди все были, брали железо за железом, а тебя не было. Где ты был, Юзас?

Юзас посмотрел на Конеля. Опять огляделся. В лавке пусто, разбазарено все.

— Так-таки нету железа? — спросил на всякий случай.

— И Конеля нету, Юзас.

— Все-таки смеешься ты, Конель, — сказал Юзас, глянув исподлобья. — Я еще не слепой.

— Что не слепой, это хорошо, Юзас. Глаза — большое достояние. Но ты, правда, уверен, что видишь Конеля, Юзас? Погляди еще, Юзас, разок и скажи все как есть.

Юзас растерялся. Ему показалось, что Конель сошел с ума. Посмотрел на него, потом еще раз. Непохоже было, чтоб тот спятил. Каким он был раньше, таким был и сейчас. И тогда Юзасу пришло в голову, что и раньше приходило: Конеля не поймешь, что он тебе говорит и чего недоговаривает. И Юзас еще раз посмотрел на Конеля, улыбнулся ему краешком губ.

— Был Конель — и нету Конеля, Юзас. Сейчас продавец государственной торговли, Юзас. Ты не видишь Конеля, Юзас.

Замолчал Конель, потом добавил не к месту:

— Ты хороший человек, Юзас.

— Много говоришь, — опять растерялся Юзас.

— Твой дед Йокубас покупал железо у моего деда, Юзас, у моего деда Еноха, а твой отец покупал железо у моего отца, а ты, Юзас, ты всегда покупал железо у меня. У Конеля ты покупал, Юзас, всегда и нигде больше, кроме этой лавки, Юзас. Так что скажи мне, много ли тебе железа надо?

— Так я же сказал, разве не слышал? — все не мог прийти в себя Юзас. — Да нет у тебя железа, к чему зря спрашивать?

— Пропади теперь, Юзас, — сказал Конель. — Из моей лавки... Извиняюсь, не из моей лавки, из государственного магазина, в котором теперь служит Конель. Потом появись опять, Юзас. Как только стемнеет, ты опять ко мне, Юзас.

Был Конель выше ростом, чем Юзас, поэтому наклонился, чтоб тот хорошо расслышал.

— Дам!

Даже попятился Юзас от этого словечка Конеля.

— Пропади, пропади, Юзас, — не давал ему опомниться Конель. — Комиссия за комиссией ходит, ловят Конеля на воровстве, так что пропади, потом появишься. Разве ты не видишь, Юзас, как много тут есть чего украсть? Пропади, пропади.

Конель почти вытолкнул Юзаса из лавки.

Юзас постоял на базарной площади, такой пустой, какой никогда она раньше не была, повернул к

другим лавкам. Много их было в Мальдинишке, этих лавок. Вокруг всей площади. И перед дверью каждой сидели бородатые евреи, грелись на солнышке, прищурив глаза. Это в будние дни они так. Казалось, не заботит их торговля, не заботит, зайдет кто-нибудь к ним в лавку или не зайдет. Лишь в базарные дни становились они шустрými, оживленными, знай только развевались полы их халатов; кричали, размахивали руками, зазывали к себе покупателей, а зазавтаки, торопились отвешивать соль и поташ, квасцы и ярь-медянку, наливали керосину, доставали из бочонка селедки и считали их, швыряя на лист плотной бумаги и вытирая руки о полы своих халатов, чтобы деньги взять чистыми.

Но теперь не базарный, а будний день, и они опять дремали у дверей, как когда-то.

Юзас подошел к одному, потом к другому, купил соли, наполнил керосином бутылку из темного стекла. Все это было. Не так, как в лавке Конеля.

— Здорово, дяденька! — услышал он голос за спиной, снова оказавшись на площади.

Обернулся, а тут кузнец Шаркюнас. Он самый, этот красавчик Шаркюнас, с утра до вечера звеневший молотом в своей кузнице на краю Мальдинишке. И Юзас сразу вспомнил, как под вечер базарного дня загулявшие крестьяне останавливались по пути домой перед этой кузницей и наперебой просили стукнуть молоточком по шатающемуся ухналю подковы, загнуть болтающуюся в оси чеку или подтянуть тяжи оглобли, чтобы колеса катились прямо посередине дороги, а не вихляли от канавы до канавы, дорога-то впереди длинная, а терпение у бабы вот-вот лопнет, сам погляди, как она расселась на облучке! Бабы и впрямь сидели, поджав губы, во встопорщенных от ярости платках на голове, едва удерживая в сердце все, что еще оставалось от их терпения. Красавчик Шаркюнас скалил снежно-белые зубы, потный, кудрявый, чумазый. Колотил, позванивал, постукивал там, где требовалось, а сам все зыркал на женщин, и те уже расплывались перед ним в улыбке и глаз не могли оторвать от дьявольского отродья. И лошади ржали весело, и люди чесали языки. Настоящий послебазарный вечер, повеселей самого базара. А раз уж так, то кто проедет мимо? Надо было или не надо, все останавливали лошадь перед кузницей Шаркюнаса и глядели, как этот чертов красавчик вьюном вьется среди телег, дзинькает молотком и бухает молотом, где ни попросишь, и скалит зубы, а потом провожает взглядом уезжающих, приглашает заглянуть опять, когда настанет базарный день, расшатается ухналь или разболтаются тяжи.

Словно никогда он черной ночи не видел, солнечным утром родился и солнечным днем живет, таким был Шаркюнас. Все знали, растут у кузнеца двое ребятишек, и жена у него такая, что только поискать.

А теперь стоял перед Юзасом уже не тот кузнец. Ни саж, ни черноты, бритый, принарядившийся, с гладко зачесанными вверх волосами. Смотрел на Юзаса, улыбался.

— Хорошо, что показался, дяденька, — сказал. — Сам уже хотел вызвать, извиняюсь, пригласить. Адо-

мелис много мне про вас говорил. Зайдемте-ка! — взял Юзаса под руку.

— Не дядя я тебе, — попытался выволить руку Юзас.

— Это вы верно говорите. Товарищ Юзас, вот кто вы теперь. Ладно, пошли!

И Юзас увидел, что он уже идет. Рядом с Шаркюнасом. И не в какую-нибудь другую сторону, а к тому дому, где уже бывал, когда его вызвали уплатить налоги.

— Чего мне к старшине? — опять дернул руку Юзас. — Ничего мне там не надо.

— Найдутся дела! — рассмеялся Шаркюнас, и не думая отпускать руку Юзаса.

Так они миновали длинный коридор, пересекавший весь дом, вошли в прихожую, заполненную ожидающими людьми. Один из них вскочил, подбежал к Шаркюнасу.

— Товарищ председатель, я по поводу земельной комиссии!..

— Минуточку, минуточку, товарищ Урнежюс, — улыбнулся кузнец. — Человека вот отпущу, тогда и заходи.

Другие тоже повставали с мест, окружили Шаркюнаса, каждый спешил сказать про свое дело, и сказать погромче других, чтобы кузнец точно слышал.

— Минуточку, только минуточку, — улыбался всем Шаркюнас.

В пустой комнате старшины, где все было как раньше, только самого старшины не было, кузнец пододвинул стул.

— Присаживайтесь, пожалуйста, товарищ Юзас. А сам обошел стол и тоже сел. Не куда-нибудь еще, а на стул волостного старшины. Даже огляделся Юзас, увидев это.

— Старшина не придет? — спросил кузнеца. Шаркюнас опять рассмеялся.

— Новая власть, товарищ Юзас, сняла вашу задолженность государству. Недурно, а?

— Не было у меня задолженности.

— Была, товарищ Юзас. Мы документы нашли. Налоги за пятнадцать лет не уплачены.

— Мне не надо было платить.

— Надо было, товарищ Юзас. Не выкрутились бы, раньше или позже денежки принесли бы. А теперь сняли налоги с вас.

Юзас помолчал. Посмотрел на Шаркюнаса, сидящего по ту сторону стола на стуле старшины.

— Выходит, ты теперь власть? — спросил у кузнеца.

— Народ теперь власть, товарищ Юзас. Народ. Я только выполняю волю народа.

Кузнец Шаркюнас улыбался и глядел на Юзаса. Хорошо глядел. Так хорошо, что глаза у него просто лучились радостью.

— Давно, давно уже хотел вызвать... извиняюсь, пригласить вас, — сказал. — Все собирался спросить: может, земля вам нужна? Кусок хорошей земли?

— Имею, — ответил Юзас. — За железом приехал.

— Да какая у вас земля! — рассмеялся кузнец. — Болото змеиное, ничего больше. А мы бы хорошей дали. Такой мужик, как вы, трудяга такой, в сотню раз больше пользы принесли бы и себе, и народу. Земельная комиссия работает, только молвите словечко, товарищ Юзас, а?

— Имею, — опять ответил ему Юзас. — Имею землю.

— Значит, отказываетесь? Жаль, жаль... Хорошей земли бы прирезали, пашни на здоровье да сей на пользу людям!..

— От кого бы отрезали? — прищурился Юзас. — Не от Каулакиса ли часом?

— От Каулакиса? — уставился кузнец на Юзаса. — Каулакис не один в волости. Десятки у нас таких. А чем вас так заинтересовал Каулакис? Родня? Друг? Знакомый?

Не сразу Юзас ответил кузнецу. И даже не ответил, а спросил:

— Раз ты власть, куда железо подевал?

— Вы опять про железо! — перестал улыбаться Шаркюнас. — Где, какое железо?

— На лемех мне нужно, на зубья для бороны. Полным-полно было железа, куда его подевал?

Кузнец Шаркюнас опять заулыбался.

— Есть железо, — сказал. — Есть, товарищ Юзас.

— Да вроде нету.

— Есть, товарищ Юзас. Все есть!

— Может, покажешь? — опять прищурился Юзас.

— А тут и показывать нечего, товарищ Юзас. Нужно только верно глядеть да верно понимать. Верно! Есть железо. В достаточном количестве. Национализацию проводим, частную собственность ликвидируем, так что возникли определенные трудности. Временные, товарищ Юзас. Временные! Вот торговлю перестроим на новый лад, государство возьмет ее в свои руки. А вы, товарищ Юзас, паникуете. Как не быть трудностям, если не все еще желают строить жизнь по-новому? Взять хотя бы торговцев! Сколько они укрыли от народа! Чтоб потом воспользоваться, спекулировать из-под полы.

Даже задохнулся кузнец Шаркюнас. Хмыкнул, посмотрел на Юзаса, улыбнулся, как улыбался в самом начале.

— Терпения, товарищ Юзас, — сказал, — терпения надо побольше. Все образуется.

— Терпение-то у меня есть, — признался Юзас.

— Вот и хорошо. Хорошо! Погодите... — всполошился кузнец. — Если у вас с железом действительно туго, дам записку. Сходите с запиской к Конелю, выделит из резерва, из нашего фонда!

— За записку? — не понял Юзас.

— За деньги, товарищ Юзас, — рассмеялся кузнец. — Деньги пока еще не упразднены.

— А на что тогда записка?

— Записка? — еще звонче рассмеялся кузнец. — Чтоб вы железо получили, товарищ Юзас. Из нашего фонда!

Кузнец Шаркюнас наклонился над столом, чтобы написать записку. А когда управился с этим делом, вывел подпись и поднял голову, Юзаса в комнате

не оказалось. Кузнец пожал плечами, огляделся. Действительно Юзаса не было. Подошел к окну, отвел рукой занавеску и увидел: в сгущающихся сумерках Юзас идет по улице. Медленно уходит вдаль. И кузнец Шаркюнас еще раз пожал плечами.

В густых сумерках, веря и не веря, Юзас въехал во двор Конеля. Не к дверям лавки, а к черному ходу. И Конель положил на его телегу железа, сколько он просил: на лемех для плуга, на полозья и даже на ободья. И деньги взял в темноте, не пересчитав, даже не глянув на них, сколько Юзас сунул, столько и загреб. И тут же спрятал в ящик щербатого стола. Словно и не деньги это были, а помеха для рук. Потом Конель попросил:

— Соломой хорошенько переложить, Юзас. Железо соломой. Чтоб не соприкасалось. Громко звенит, когда без соломы из городка, ты понял?

Юзас сделал, о чем его просили. И Конель снова наклонился к его уху.

— Если опять понадобится, дорогу знаешь, Юзас. Если понадобится, тебе говорю, Юзас.

Долго качал головой Юзас, возвращаясь по темной дороге к своему болоту.

А вернувшись, еще больше удивился тому, что сам не побросал железо у стены сарая, на виду, где всегда оно валялось, а оттащил на сеновал, засунул в кладь и аккуратно прикрыл сеном. Удивился, но все равно прикрывал, стоя в темноте перед кладями сена.

19

Лини опустились в бездонные болотные окна, засунули рыла в теплый ил для долгой спячки. Налимы метали икру в Павирве. На Кайрабале хлынул голубой туман.

Каждую зиму Юзас собирался в Видугире. Кайрабале, правда, давало хворост, но толку с него мало. Фыркнул, когда бросишь в печь, и нету его. Ни тепла, ни щедрых угольков. Доброе полено нужно для печки в морозы. Березовое или ольховое. Поэтому осенью, после заморозков, Юзас совал за ремень топор, отправлялся в Видугире и здесь на своей просеке валил деревья, укладывал в штабеля, чтобы по первопутку доставить домой. Так и в этом году. Штабеля срубленных еще осенью бревен ждали его под снегом. Настало время приучать савраса к оглоблям.

Уехал Юзас еще до рассвета. Как ни верти, а до Видугире километров десять, потом еще по лесу ехать до просеки километров пять.

Словно просыпаясь ото сна, Юзас вздрагивал на санях. Белым-бело вокруг, низко свисают ветки деревьев, а под деревьями на снегу следы зверьков и птиц. Юзас улыбнулся в усы, дернул правую вожжу. Лошадь поняла, свернула с дороги в чашу, хотя не было там ни колеи, ни следов человека. Вот и просека, и штабеля бревен съезжились под снегом. Юзас натянул вожжи, стал слезать с саней...

И застыл, не успев даже опуститься на ноги: по краям просеки цвел ивняк! Так цвел, что красным-

красно было все вокруг и снег под ивняком казался белее, чем в остальном лесу. Юзас смотрел на это цветение. Тяжелые, огромные, не тронутые морозом цветы горели багрянцем, словно огнем, свешивались до самой земли, иной цветок и снега коснулся, загоревшись уже не красным, а черной густой живой кровью.

Юзас молча снял шапку. Долго стоял простоволосый, словно и не в лесу он был, а в костеле. Его проняла дрожь.

«Кровь кличет», — вспомнил слова дедушки Йокубаса.

Давно произнес эти слова Йокубас. Юзас был еще малышом. Стоял он тогда, прижавшись к ноге дедушки, крепко уцепившись за его руку, и глядел, выпучив глаза, на небывалое: на цветущий ивняк. Цветущий посреди зимы. Как цветет он сейчас.

Не совсем как сейчас. Тот ивняк мелкой дробью расщепил почки, принарядился красными бусинками, будто четками, и все. И все. Но дедушка Йокубас еще раз сказал тогда: «Кровь кличет».

И верно сказал. В первое же лето после цветения ивняка обрушилась людям на голову война. Вдалеке обрушилась. Там, где японцы хотели отобрать землю русского царя. Но мужчин призывали и отсюда. Отовсюду. И крепких, трудолюбивых, здоровых, в самом цвету. Война оказалась разборчивой. Не брала первых же с краю, а все на выбор да на подбор. И очень немногих из призванных отпустила назад. А если и отпустила кого, то без руки, без ноги или с удушьем, с глубоко засевшим тифом. Эти ложились в гроб уже дома, аккуратно скрестив на груди руки. Рыдали по ним люди в деревнях и на хуторах. Много крови накликали тогда цветы ивняка.

Но цвели они тогда только мелким бисером.

«Какую кровь накличат теперь?» — подумал Юзас, сжимая в руке шапку.

Молча погрузил на сани бревна.

20

Шла весна. Без ласковых ветров, как обычно весной, без солнечного сияния и молний в прорехах туч, а плаксивая, вязнущая в непролазной грязи, то и дело мешкающая у каждой тропки. Не весна, а сиротинка молодая. Лягушки и те не торопились метать икру. Безмолвствовали птицы на кочкарниках. Березы трясли заострившимися за зиму черными сучьями, звали и дозваться не могли теплых ветров. По берегам Павирве черемуха не распускалась чуть ли не до троицы.

А в первый день троицы неожиданно-негаданно — гром. Да еще такой, что вздрогнуло все болото в сполохах белых молний. И сразу же дождь. Густой, теплый, благодатный. Прошумел, умыл Кайрабале, словно невесту к алтарю принарядил, и тогда уж щедрой рукой: загомонило, зашелестело все, устремились к солнцу побеги да листья, на сосенках блеснула живица, даже осока заиграла своими резучими листьями.

И медонос. Тоже не как в иные весны. Встав утром, Юзас остерегался пчелиной тропы, огненным сквозняком прошивающей хутор. Жужжала, гудела, звенела эта тропа от зари до раннего вечера. Пчелы, будто пульки, неумоимо пронзали воздух, ни за что не задевая, даже краем крылышка не касаясь деревьев. Много лет так было. А сейчас стоял Юзас на пчелиной тропе и думал, что не пожалел господь пчеле ума, а главное, понимания, для кого жить, на кого работать, ради кого умирать. А как с ним, с Юзасом? Знает ли он то, что знает любая пчела? Его дни идут на убыль, скоро и ему с летка. Ради кого он работал, зачем маялся не покладая рук? Для кого набил бочонки медом, полки — сырами да разными копченостями? Кому берег, ради кого жил? Даже родному брату Адомасу руки не протянул, когда тот пришел в нужде. Не было дня, чтобы не пронзала сердце Юзаса мысль об этом. И не было дня, чтоб он не вспомнил про Винцюне. Словно живая стояла она перед глазами все эти годы на Кайрабале. Полтора десятка долгих лет росла жгучей крапивой в самом сердце, и не выдернуть ее, соленым потом не отмыть, заботами не заслонить. Так и стоит перед глазами. Для кого же? Все ближе Юзас к старости, все ближе к летку... Вдобавок ивняк расцвел посреди зимы в лесу, значит, не ему одному, всему теперь конец. Всему ли?..

Юзас мотнул головой. Кое-как отогнал недобрые мысли.

А ночью в беспробудном сне услышал стук костяшками пальцев по оконному стеклу.

— Дядя Юзас... Дядя, дядя!..

Голос был незнакомый. Какой-то сдавленный. Словно человек зажал рот ладонью.

Юзас поднял голову — с трудом, точно камень выдирали из земли. В потемках добрался до двери, нашарил засов.

— Заходи, чем кричать.

И долго глядел на прищельца, моргая в свете керосиновой лампы, которую сам зажег. Не узнавал неожиданного гостя. Даже не вспомнил, чтобы видел его раньше. А тот стоял и трясся мелкой дрожью.

— Кто такой будешь? — выдавил Юзас.

— Так-таки не узнал, дядя Юзас?.. Не узнал меня?

Юзас снова уставился на прищельца. Парень только год, от силы два, как бриться начал. Плечистый, с густыми сросшимися бровями. И несет от него промокшей одеждой да непереобутыми ногами.

— Откуда взялся? — удивился Юзас. — И кто такой?

— Помоги мне, дядя, — попросил тот. — Стонкуса из Поужаса сын я, если не узнал, дядя. Сын Винцюне. Адомелис.

— Винцюне?..

— Маменька меня послала. Выручай, дядя.

Юзас молчал, уставясь на густые брови неожиданного гостя. Узнал их. Винцюне были брови. И ямочка на щеке ее. Мороз побежал у Юзаса по спине.

— Маменька так и сказала, — торопливо выкладывал прищелец, — беги, сказала, сыночек, пока мож-

но, нас-то никто уже не спасет, а тебя дядя Юзас. Только Юзас!.. Хорошенько попроси, сказала маменька, и, что я прошу, передай. Мы-то пропали, а ты беги!

Растревоженный был гость, просто места себе не находил. Пробежался по избе, и от него еще противнее шибануло илом и прокисшей одежкой. Подлетел к Юзасу.

— Пятый день по лесам да болотам! — сказал, крепко сжимая кулаки. — Крошки хлеба во рту не держал... Выручишь?

— В голове не уместается, — помолчав, признался Юзас. — С чего вдруг по болотам-то?

Гость вытаращил глаза на Юзаса.

— Прикидываешься, дядя, или впрямь ничего не знаешь? Нас же ссылают! Из Литвы выгоняют! — прокричал.

Теперь уже Юзас пялил глаза на гостя.

— Ничего не уместается, — повторил. — В голове не уместается.

— Маменька с отцом в поезде. И брат с ними, и сестра!.. Погодите, настанет и наш час! — в ярости закричал гость.

Юзас молча смотрел на него. Не понимал, что говорит гость, только чувствовал, что по спине побежал мороз. Теперь уже гость смотрел на него, как на ночное привидение.

— Хватит прикидываться, дядя! — крикнул. — Все равно не поверю, что ничего не знаешь! А если не хочешь выручить, так и скажи. Есть еще люди в Литве! — и подался к двери.

— Не верится, — сказал Юзас, и его опять бросило в озноб.

Гость обернулся от двери, уставился на Юзаса, видно поверив, что тот и впрямь ничего не знает.

— Кулаки мы, дядя Юзас, — сказал тихо-тихо. — Так нас называют. Земли у нас был излишек, еще мельница, сукновальня, батраков эксплуатировали, как теперь говорят. Таких высылают, дядя Юзас. С нашего хутора и начали!.. — опять вскипел гость, сжимая кулаки. — Ночью прикатили, будь они прокляты! И заорали: немедленно собираться, теплые вещи взять, продуктов побольше, воды с собой не забыть! А во дворе грузовик рычит, и собаки воют во всей округе, на всех крепких хуторах, значит, кулацких, люди рыдают... Вот как оно было, дядя Юзас!

— Быть того не может, — задохнулся Юзас. — Ты, часом, не бредишь?

— Погляди, спроси, кого хочешь спроси! Всех загребли, у кого земли побольше, кто крепким хозяином был!..

Юзас так и остолбенел.

— Меня бы тоже, — лицо гостя исказила ярость. — Тоже!.. Да маменька толкнула в темноте в сторонку, где сад: беги, сынок, к Юзасу, только к Юзасу! Кричали они вслед, а я садом, садом да в лес... Ищи-свищи в лесу!

Умолк гость, отдышался.

— Дядя Юзас, так... ты и правда ничего не знал?!

Юзас молчал. Гостю казалось, что он ничего не видит и не слышит.

— Дядя Юзас! — позвал громче.

Юзас вздрогнул, словно просыпаясь от глубокого сна. Бросил взгляд на гостя.

— И маменьку, говоришь?

— Всех!..

Юзас крепко стиснул зубы.

Гость уселся на лавку. Больше он не сказал ни слова. Зажмурившись, стукнул затылком о бревенчатую стену. Потом еще раз. И еще. Казалось, хочет проломить стену головой.

— Мне бы только самое страшное время пересидеть, — сказал, не открывая глаз. — Пока облава не пройдет. Есть же у тебя, дядя Юзас, где укрыть лишнего человека? У болотного окна, в зыбунах. Я и пересажу. Дядя Юзас, ты же болото как свои пять пальцев знаешь, все потайные ходы, маменька говорила. Я и пересидел бы, говорю, пока волость не прочешут. Пока это не кончится... А тогда... тогда меня голыми руками не возьмешь!

Помолчал, спросил:

— Ну как, дядя Юзас?

Не поверил Юзас сыну Винцюне. До конца так и не поверил. Но и не был уверен, что тот все врет. Может, переборщил малость — про этих собак да про то, что люди рыдают. Конечно, переборщил со страху, а может, и правду говорит... Не сказав ни слова, встал с лавки, поманил пальцем, чтобы следовал за ним.

Поселил Юзас Стонкусова сына в чулане — вынес оттуда все лишнее, устроил кровать на козлах, бросив на нее толстенный куль соломы да застелив холстиной.

— Передохни, — только и сказал.

А сам к баньке на берегу Павирве. Жарко растопил, нагрел воды полную кадку, сам попарился, отвел в баньку сына Винцюне, дал ему полотняную рубашку, ненадеванную, а к ней и штаны из полосатой домотканины, в каких ходил сам. Провонявшую илом одежду гостя бросил в корыто с горячим щелоком да накрыл крышкой от любопытных глаз. И когда, управившись со всем этим, уселся с гостем за стол, почудилось ему, будто сама Винцюне сидит перед ним. Те же брови, острые, как наточенная коса, и глаза, сверкающие влажным пламенем, как тогда в березняке, да еще ямочка на левой щеке... Юзас зажмурился и встряхнул головой.

— Ты ешь, — подвинул через весь стол миску с мясом. — Побольше ешь. Пять кусков съешь, а вот и шестой поменьше, — улыбнулся, сам не понимая отчего.

— Не знаю, как и благодарить, дядя...

— Не знаешь, так помолчи. Ешь, ешь...

Но сын Винцюне отвернулся, встал из-за стола. И Юзас увидел: глаза его полны слез, подбородок дрожит, вот-вот заплачет парень.

— Ешь! — сурово сказал Юзас.

И когда гость снова уселся за стол, сам встал с лавки. Вышел во двор, посмотрел на яблони, уже облипшие румяными плодами в прохладной густоте листьев. И на вишни, пламенеющие ярким багрянцем ягод. И на рябину, уже завязавшую гроздья, покамест зеленые и твердые. А потом и на крест,

под которым лежат те двое. В одном гробу оба, но каждый в своей холстине. Так надо было сделать, так он, Юзас, и сделал. Не только те двое лежат, русский и германец. Лежит и Карусе рядышком. Одна лежит. Гроб для нее Юзас смастерил пошире, чем для тех двоих, а она в нем одна. Одна лежит.

Стоял Юзас, глядел. Долго стоял в саду.

Шелохнулся, только услышав шаги в стороне гати. Повернул голову и увидел: по гати приближается Адомелис. Сын брата Адомаса. Солнце светит, птицы поют, а он идет. Усмехнулся в усы Юзас: был на хуторе один Адомелис, а вот уже и другой. Два Адомелиса сразу. Только этот, хотя и летний зной сейчас, в высоких сапогах. Да в кожаной куртке. И фуражка у него кожаная. Как тогда, осенью, когда делили землю «американца» Каулакиса.

— Здорово, дяденька! — крикнул еще издали Адомелис.

А сам знай глазами зыркает. То на избу, то на хлев, то на баньку, то опять на избу. Но головы при этом не поворачивает. Будто охотящийся за мышами кот или паренек, выслеживающий хорьков.

— Что потерял? — спросил Юзас.

Адомелис подошел к нему. Весь он обливался потом. Смахивал его рукавом со лба, снова обводя хутор взглядом из-под козырька фуражки.

— Дяденька, — повернулся к Юзасу, — ты никого тут не видел?

— Что потерял, спрашиваю?

— Не время сейчас шутки шутить, дяденька. Правда, никто тут не показывался? Не проходил мимо? Не скрывался? Утром, когда встал, следов по росе не заметил? Выкладывай мне все начистоту, дяденька! — не просил, а приказывал Адомелис.

— Будет что сказать, скажу.

Адомелис впился глазами в Юзаса. Глядел, не мигая, даже дыхание придержал.

— Не время сейчас шутки шутить, дяденька, — повторил. — Ты пойми. Классовый враг голову поднял. Избегает ответа за свои злодеяния. В леса кое-кому удалось удрать. Понимаешь, что это значит? Поэтому говорю и предупреждаю, что если по доброте сердечной поможешь таким, приютишь или накормишь, а потом промолчишь об этом, шутки плохи будут для тебя, дяденька.

Юзас помолчал. Посмотрел прямо в глаза племяннику.

— А ты, подсвинок, ты-то чего меня стращаешь? Щенка нашел?

Адомелис потупил взгляд. Поковырял носком сапога землю. И тут же снова глазами на Юзаса.

— Не страшаю, просто говорю. Показалось тебе, что страшаю. Знаешь, что Стонкусов сынок удрал?

И, не дожидаясь ответа, спросил:

— К тебе, часом, не приходил? Всю округу переворошили, всю волость... Будто сквозь землю! Ты давай мне начистоту, дяденька.

Юзас сам не почувствовал, как стиснул зубы.

— Сам поищи, если вру.

Адомелис побледнел. Одним прыжком отскочил от Юзаса, вторым подлетел к баньке, вытаскивая

оружие из-под кожаной куртки. Прижался к стене, дулом пистолета открыл дверь, юркнул внутрь и сразу обратно. И тут же на чердак, под низкую крышу. Но и здесь не задержался. Скользнул вниз, прижимаясь спиной к лесенке, проходя мимо, пнул корыто. Юзас вздрогнул. «А вдруг крышку поднимет?» Но Адомелис снова подошел к Юзасу. Белый как полотно.

— Баню зачем топил, дяденька Юзас?

— Построил, вот и топлю.

— С утра-то? И не суббота сегодня. Как прикажешь понимать, дяденька Юзас?

Юзас молчал, глядел на племянника. И сам не почувствовал, как замахнулся кулаком. Тяжелым, будто кувалда. В жизни мухи не раздавил, на муравья нарочно не наступал и животные без нужды не хлестал, а теперь вот замахнулся. И Адомелис растянулся во весь рост, не успев глазом моргнуть. Юзас постоял, подождал, пока племянник очухается, а не дождавшись, подошел к колодцу, зачерпнул воды, холодной, будто лед, и окатил из ведра Адомелиса.

— Брысь с моего двора! — сказал.

И ушел в избу.

Так разволновался, что с трудом сдерживал ярость. Пальцы дрожали, пока набивал трубку. Долго раскуривал ее, все не мог поймать губами дым и вздрогнул, услышав непонятное звяканье у себя за спиной. Повернулся на звук, а там, оказывается, в открытой двери чулана стоит Винцюнин Адомас с винтовкой в руках.

— Убрался поганец?

— Винтовку где взял? — насупил брови Юзас.

— Все слышал, пока в чулане сидел. Повезло поганцу, что носа сюда не сунул. Прихлопнул бы, как собаку!

— Винтовку где взял?

— В чулане, дядя Юзас. Оказывается, у вас и оружие припрятано. Вот спасибо! Повезло мне!

Юзас уставился на него. Запомнил уже, что давным-давно сунул в чулан винтовку, одну из пяти, найденных, когда копал колодец. Остальные четыре опустил в болотное окно. Эта блестела больше других, почти не тронутая ржавчиной, потому и приберег для себя. На всякий случай. И патронов три обоймы. А вот как оно теперь обернулось...

— Винтовку-то отдай, — сказал сыну Винцюне, протягивая руку. — Есть запас, да не про вас.

— Винтовку-то не отдам, — в тон ему ответил Стонкусов сынок. — Чтобы первый попавшийся босяк голыми руками меня?! Ничего не выйдет, дядя.

— Отдай винтовку, тебе говорят!

— А я-то ее и смазал, — усмехнулся Стонкусов сынок. — Коровьим маслом, спасибо тебе, дядя Юзас, хорошее маслице ты мне припас. Как же ты, дядя, так долго ее несмазанной держал? Винтовка-то ржавеет. Погляди, дядя Юзас. Ржа-ве-ет!

Лязгнул затвором винтовки: открыл, опять закрыл.

— Голыми руками теперь меня не возьмешь!

Юзас молча встал, шагнул к нему, протянул руку, сказал сурово:

— Винтовку, щенок!

И увидел, что винтовка наставлена прямо на него. Дулом в грудь.

21

Долго чернела лужа посреди двора. Потом высохла. Земля снова стала одного цвета. Как раньше.

Зато Юзас жил сейчас не как раньше. Встав поутру, тяжело думал: идти ему в чулан или не ходить? Сын Винцюне, заполучив винтовку, будто взбесился. Не гостем уже был, а хозяином. Сидел или лежал в чулане, стоял или скручивал сигарку, винтовку ни на миг из рук не выпускал. С оружием и Юзаса встречал, когда тот приносил требуемое. Вот это сюда поставь, а то вон туда — показывал дулом винтовки. А теперь не волюнь, уходи, дядя Юзас! Иначе и не разговаривал, только: подай, поставь да уходи. Глубокой ночью, а ночь посредине лета короткая, выходил Стонкусов сынок во двор. Не раз видел Юзас, упражняется он. С винтовкой в руках и без винтовки. Потом опять в чулан. Задвигает засов изнутри. А бывало и так, что уходил по гати с Кайрабале и возвращался перед рассветом. Промокший до нитки, усталый и непременно с усмешечкой на губах. А иногда не появлялся даже на рассвете. Пропадал на два, а то и на три дня.

«Пожрать давай», — только и говорил, вернувшись поутру неведомо откуда.

Юзас забыл про сон. Ночью долго сидел на кровати, свесив с нее босые ноги. Знал, нехорошо это. Ночами с винтовкой по лесам — нехорошо. Собирался даже пойти и выложить в Мальдинишке, что да как, или хоть посоветоваться. Чуяло сердце: по каким-то темным делам бродит ночами с оружием Стонкусов сынок. Но так и не собрался сходить. И сам не знал, почему не сходил.

Так теперь тянулись дни Юзаса на Кайрабале.

Минутами ему казалось, что снится ему все это, да и только. Работал как во сне. Работа сменяла работу, он отбивал косу, махал ею на лугу у подножия холма, поднимал пары, и все как в тумане, будто и не он это, а кто-то другой ходит за него, работает за него, живет за него. Даже головой встряхивал Юзас, стараясь проснуться, отогнать наваждение. Но сон не убегал. И Юзас снова шел от работы к работе как заведенный.

Поэтому и обрадовался, увидев однажды под вечер, что на хуторе появился брат Адомас. Давно не появлялся на Кайрабале. Ни разу после Адомелиса, когда тот искал здесь Стонкусова сыночка. Был он еще серее лицом, шея еще истончала, хотя и тончать-то ей вроде было некуда.

— Жив ли? — спросил негромко.

— Шевелюсь, — ответил Юзас. — Шевелюсь. А ты?

— А я, знаешь, еле-еле. Еле-еле шевелюсь.

Юзас отвел брата к сеновалу, подальше от избы. Уселись оба на колодах. Раскурили трубки.

— Может, беда какая или нужно чего? Ты скажи, — впервые он так заговорил с братом. — Тебе я всегда готов.

— Адомелис сбесился.

— Адомелис? С чего это?..

— Всегда был чудной, а сейчас вконец одурел. На меня окрысился: сиди дома, раз ни бельмеса не смыслишь! Исторические события происходят, вот и сиди, не смей ни шагу из дому! Мне, родному отцу, сказать такое! Слыханное ли дело? Будто в кутузку запер меня в моем же доме!

— А ты и сидишь?

— Да я уж и не разберу, Юзас, сижу или не сижу, живу или уже не живу.

Помолчал Адомас, потом, улынувшись, спросил:

— Выходит, тебя не тронули?

— А что я кому сделал? И кому я нужен?

— Этого не разберу, Юзас, кто нужен кому или не нужен. Все у меня в голове перепуталось.

Юзас помолчал.

— Многих взяли? — спросил, не глядя на брата.

— Многих, Юзас.

— Всех-то, может, и нет?

— Юодвиршиса из Павалакне загребли. Вайтони-са из Скодиняй. У кого земли свыше двадцати гектаров, того и на колеса. По всей волости так, Юзас. Кошки вопят на пустых хуторах.

— Какие кошки? Чьи?

— Кошке-то человек не нужен. Кошка — она при доме. Собаки за людьми погнались, а кошки при доме, Юзас. Вопят теперь, никого к себе не подпускают.

Юзас встал с колоды, походил у сеновала, вернулся и устался на брата.

Адомас помолчал.

— Слава богу, что тебя не тронули. Слава богу!..

Адомас пососал погасшую трубку. Посмотрел на отвернувшегося брата.

— Чего на ногах торчишь? Если время отнимаю, скажи прямо. Пришел, увидел, что ты жив, здоров да у себя дома, теперь могу и уходить...

Юзас опять подошел к брату. Уселся на колоду. С дрожью уже кое-как справился, но спине все еще зябко было.

— Не ахти какие новости ты мне принес, — сказал.

Адомас не ответил. Братья сидели на колодах и молчали. Небо на западе полыхало багрянцем, обещающая завтра солнце и зной. Ярким был этот багрянец. И тихим был вечер. Сидели братья друг против друга и молчали.

— Я-то с просьбой, — промолвил Адомас.

Бросил взгляд на брата. Юзас не повернулся к нему.

— Насчет Адомелиса, значит. Уже говорил тебе, теперь опять скажу. Может, говорю, выручишь в тяжкую годину...

— Потяжелее чего ожидаешь?

— Так долго не будет, Юзас. Сам понимаешь, что не будет. Боюсь. Вот и говорю, живешь ты на

отшибе, никому глаза не мозолишь, кто еще поможет, если не ты?

Юзас и теперь не обернулся.

— До тех пор у Адомелиса и волосы отрастут. Будет как человек. Как все.

— Какие еще волосы?

— Так побрился же. Говорит, это по-комиссарски. Когда при кожаной куртке бритая голова, это по-комиссарски будет.

— Ремень не мог взять?

— Вот это правда, Юзас. Надо было взять. Только маленькому надо было, Юзас. Пока задница мягкая. А сейчас пиши пропало. Задубела задница-то, ума через это место не прибавишь.

Юзас кивнул.

— Так чего же ты хотел? — спросил брата.

Адомас ответил не сразу. Солнце уже закатилось за лес, поблескивало отсюда сгущающимся багрянцем. Потянуло вечерней прохладой. Болотные окна беззвучно кадили мутноватой мглой. Заснули цапли и все прочие птицы на болоте, налетавшись в летнем зное да набив зобы жирными червяками или холоднопузыми лягушками. Вот и луна всплыла на том краю болота. Молоденькая еще, и серебра не успевающая зачерпнуть из вчерашней ночи. словно застеснявшись своей молодости перед братьями, уже поселевшимися и молча курившими возле сеновала, юркнула за облачко.

— Юзас, — окликнул Адомас.

— Ну?

— Помнишь, как наш дедушка Йокубас умирал?

— Дедушка? С чего это ты?..

— Опустились мы все на колени, помнишь? Стоим на коленях вокруг кровати. Свечу зажгли. Стали дедушке руки целовать, а тот не дает: «Чего лезете-то? Грош мне цена. Знать бы, что так мало я могу, в монастырь бы пошел, богу молился. Ни одного из вас на свет бы не пустил, и сейчас меня, может, грехи бы не мучали». Помнишь, Юзас?

— Почти не живой был дедушка. Сам не ведал, что говорил.

— Да нет, Юзас. Когда человек умирает, слышал я, он чистую правду говорит. Хорошо, если дедушка из ума выжил, как тебе кажется, ну а вдруг нет? — Адомас посмотрел на Юзаса. — Вдруг нет? Гляжу я сейчас на своего Адомелиса... Хорошо, если из ума выжил дедушка Йокубас. А вдруг нет, Юзас? Вдруг нет? Человек только при смерти и говорит всю правду.

Юзас повернулся к брату, поглядел на него, усохшего, с тонкой шеей.

— Помолчал бы, — сказал. — По твоему разумению, и жить-то не стоит? В монастырь, по твоему разумению? Или лучше прямым ходом в могилу? Из колыбели да в могилу?

— Если не так, то скажи, почему у меня с этим сыном такое? С Адомелисом почему? Вроде бы растил, как всех, к работе приставлял, как всех, а почему этот мой ребенок не как все?

— Ишь, чего захотел, Адомас. Как все! Деревья в лесу и те не одно к одному.

— Деревья голову не бреют.

Юзас снова глянул на брата.

— Брось хныкать, — сказал сурово. — Носишься с этим своим Адомелисом, как курица с яйцом. Сбрил, не сбрил... Какой вырос, такой уж и есть. Когда худо станёт, приходите на Кайрабале хоть все, места хватит. Слезы разве помогут? Чепуха!

— Да он и ребенком был не как все, — помолчав, гнул свое Адомас. — Все ему не так, всюду он суется. Поймал кого на вранье, сразу в морду. Если кто слабого толкнул, опять в морду. Сколько раз приходил домой избитый да окровавленный. Я за правду, говорил, когда ругал его.

— Зря ругал.

— Как это зря? За драку зря?

— За правду зря.

Помолчал Адомас. Снова тихонько позвал:

— Юзас.

— Ну?

— Юзас, говорю, может, и нам надо было? В монастырь, говорю, может, и нам? Как дедушка Йокубас хотел? Что в жизни такой?

— Перед смертью не надышишься.

Юзас бросил взгляд на избу — раз, другой. Темно было в избе. И совершенно тихо. Успела и ночь наступить. Теплая летняя ночь. Тревожно, беспокойно стало Юзасу — все не выходил из головы Стонкусов сынок. И бредила душу болтовня Адомаса про дедушку Йокубаса да про монастырь. Нашел о чем говорить! Время нашел!

Ночная темень стала жиже, туман отстал от болотных окон, вспенившись, повис над мочажинами, словно кто-то отрезал его снизу ножом. Чахлые березки и болотные девы-вековухи сосенки казались утопленницами, плывущими в молочных волнах. Луна вскарабкалась по небосводу и, не зная, за что уцепиться, глядела вниз с иссиня-черных высей, посеребрив складки тумана. На востоке занималась заря. Не утренняя еще, а предрассветная, робкая, как незваная гостья или батрачка в первый день службы.

— Так и просидели, — сказал Юзас. — И ночи-то осталось с гулькин нос.

— Не часто мы так с тобой сидим. Столько лет прожили и один и другой, а вот так не часто...

Замолчал Адомас, вздрогнул, прислушался.

— Ты слышишь, Юзас?

Вдалеке, за Мальдинишке или еще дальше, словно загудело, загремело что-то. Потом замолкло. А потом опять. И опять. Не разберешь, гром там или ветер, а может, гроза после знойного дня. Но откуда быть грозе, если небо усеяно звездами? Адомас схватил Юзаса за руку.

— Ближе! Уже ближе! Слышишь, Юзас? Опять ближе!..

И правда ближе стало. Не гул и не рев ветра, а уже настоящий грохот. Все ближе, ближе... И внезапно вздрогнула земля под ногами братьев. Они вскочили, взявшись за руки. Над головой, содрогая воздух и землю, с ревом проносились самолеты. Не один-другой, как прошлым летом, когда пришла

свобода, как говорил Адомелис, а десятки, может, сотни. И до того низко, что кусты приникли к земле от ревающего под крыльями ветра.

— Война... Юзукас, так это же война! — закричал Адомас.

Юзас не узнал брата. Губы белые, глаза вытаращены.

— Перестань! — крикнул. — Откуда войне-то? Свои, наверно, летают. Маневры...

— Юзукас, братец, война! Опять война... Пропали мы, Юзукас! — шептал Адомас, уже бледнее бу маги.

— Чепуху несешь! Какая тебе еще война? Воскресенье же, какой дурак воевать будет!

— Юзукас, братец, да все же войны начинаются в воскресенье. Сколько было на свете войн, все в воскресенье, воскресенье, воскресенье. Пропали мы, Юзукас... Вот теперь так уж точно пропали!

Юзас хотел было цыкнуть на Адомаса, но в этот миг услышал грохот взрыва на востоке. Потом другой. И третий. И земля заколыхалась под ногами, словно и не твердь здесь была, не холм, а зыбучее болото. Братья крепче ухватились друг за друга... Стояли, затаив дыхание.

— Паневежис долбят, а может, Каунас, — сказал Адомас. — Ты слышишь, Юзас? Паневежис долбят!

— Откуда Каунас-то? Каунас далеко.

— Для самолета разве далеко, Юзас? Самолет — не телега, для него всюду близко. Слышишь?

Взрывы раздавались снова и снова. И словно не удалялись от Кайрабале, а приближались. По краям болота уже что-то горело, и багрянец зари смешивался с заревом пожаров. И самолеты налетали сгущающимися волнами, целые тучи самолетов, и от их гула дрожала земля.

— А ты говорил, свои летают, маневры... — шептал Адомас. — Где уж там маневры. Война, Юзукас, самая что ни на есть война!..

Юзас ничего не ответил брату. Сквозь гул самолетов и грохот взрывов он уловил скрип двери избы. Юзас повернулся на звук, а в дверях Стонкусов сынок. Поднял винтовку над головой и завыл дурным голосом:

— Свобода! Свобода Литве! Ур-р-ра-а!.. Аллилуйя, дядя Юзас! День блаженный наступил! — затянул пасхальный псалом. — Аллилуйя, аллилуй-я!..

И захохотал как безумный.

У Юзаса даже пот выступил, холодный, липкий. Он повернулся к брату. Тот стоял серый, как земля, крепко сжав губы. Не смотрел на Юзаса.

— Спасибо тебе, дядя Юзас! — вопил Стонкусов сынок. — За помощь, за оружие, за все! Литва тебя не забудет, сторицей оплатит своему сыну, истинному литовцу. Помянешь мое слово!

И уставился на Адомаса. Веселость его сразу как ветром сдуло. Подошел с винтовкой наперевес, приставил дуло к груди Адомаса. Юзас почувствовал, как у него сдавило виски, он сжал кулаки. Но Стонкусов сынок уже опустил винтовку, захохотал, как закудахтал.

— Не выстрелю! — кудахтал. — Дяде Юзасу спа-

сибо скажи. Если б не он, была бы тебе крышка. Точно, крышка!

Забросил винтовку на плечо. Плюнул Адомасу под ноги.

— А с твоим ублюдком Адомелисом мы еще встретимся на узкой дорожке. Клянусь именем Литвы!

И повернул по гати с Кайрабале.

Самолеты летели теперь у самой земли, словно собрались не бомбы метать, а хлеба косить. Земля гудела и стонала от их рева. Все небо на востоке полыхало вишнево-красным заревом. Юзас долго глядел на сына Винционе, как тот с винтовкой уходит все дальше и дальше по гати. Идет размашисто, быстро. С его, Юзаса, винтовкой. Прямой, как струна, по-солдатски печатает шаг. Так печатали шаг шаулисы, маршируя в праздничные дни по Мальдинишке. Юзас много раз видел, как они маршировали таким манером. И теперь встряхнул головой, словно себе не веря. Повернулся к брату. Адомас смотрел прямо в глаза ему. Юзас догадался, что он о нем думает.

— Ты же не понял, — сказал. — Не так ты понял. В лице Адомаса ни кровинки не было.

— Иуда ты, — сказал брат, не шевельнув губами.

22

С того утра Юзас не сомкнул глаз. Ночи для него теперь тянулись, как та давнишняя, когда он вернулся со свадьбы Винционе. И та, накануне которой он увидел цветущий ивняк в Видугире. Долгими часами валялся на сеновале, заложив руки под голову, и глядел перед собой. Свежескошенное сено шелестит, пахнет чабрецом и белым клевером, но не может нагнать на Юзаса сон. Тихо вокруг. Задремали даже букашки в сене, ни единым листочком не шевельнут березы, а сон не приходит даже в этой усыпляющей тиши, в этот дремотный час. И не выходит у Юзаса из головы слово, которым обозвал его брат Адомас. Да и сам Адомас словно живой стоит перед глазами. Ни кровинки у него в лице. Стоит. До зари, до восхода солнца стоит брат перед глазами.

Днем-то лучше. Не сравнить даже, как лучше. Пускай и ходит, шатаясь, с лихорадочными от бессонницы глазами, но все же лучше. Юзас подрезал соты. Уже по второму разу. Много меду натаскали в это лето пчелы. Им-то все едино, что ивняк расцвел зимой алыми пионами, что прогрохотал фронт и что никто не может сказать, чего теперь дождешься. Юзас проверял соты, чтобы не выплодились матки, не разделили семью на рои. Какие нынче рои? Ничего больше не надо. Ползал и между грядками, выдергивая лебеду да травку-мокрицу, прореживал чащу сочных морковок. Управившись с огородом, насаживал косу на косовище, собираясь взяться за рожь. Война войной, Адомас Адомасом, но хлеба не должны осыпаться на землю. Место хлеба — на столе.

Ей-богу, днем лучше.

Переходя от работы к работе, Юзас не раз прикидывал, где сейчас может быть этот... этот сын Винционе? Встретился ли на узкой дорожке с Адомедом, как грозился? И где сейчас Адомелис, выкрутился ли, уберег ли голову на плечах?

Брат Адомас обозвал Юзаса тем словом и больше не появлялся на Кайрабале. Конечно, и ждать его не стоит. Не покажется теперь, не придет. Но сестра-то почему? Уршуле почему не приходит? Неужели Адомас ей все рассказал? Непохоже. Так почему же не является? Раньше, бывало, если беда у кого, сразу втроем соберутся, посоветуются, сообща берут беду за рога. И, дружно, вместе взявшись, отгоняют беду прочь. Но это раньше так было. Сейчас уже нет. Уршуле давно как бы откололась от братьев, вроде и за сестру себя не считает. Только свое хозяйство да свои заботы у нее на уме. А сейчас и Адомас откололся. Юзас остался один. Один, как никогда еще не был.

Не раз уже собирался Юзас сходить к Адомасу да сказать, что тот неверно его понял, что зла он не замышлял. И винтовки Стонкусову сынку не давал. А потом выслушать, что скажет Адомас. Пускай ругает, пускай кричит да последними словами обзывает, только бы не так, как сейчас. Не так.

Много раз собирался Юзас сходить к брату. И не пошел. Не сказал. Не выслушал того, что ответил бы ему Адомас. Каждый раз ноги у Юзаса наливались свинцом.

Самолеты больше не летали над Кайрабале, как летали в первый, второй, третий, четвертый день войны. Не стрекочут больше и немецкие мотоциклы по большакам за болотом, не режут грузовики, полные вооруженных солдат с закатанными рукавами, что-то выкрикивающих на непонятном языке. Словно гроза, укатили они с ревом да грохотом все дальше и дальше. Умчались немцы на войну. Драться. Остались лишь облака пыли. Медленно оседала пыль на поля и луга, толстым серым бельмом затянула болотные окна, и линии пробивали тупыми рылами это бельмо, хватали воздух, стучаясь тугими хвостами в воде.

Юзас был один.

И, когда лежал в такую вот бессонную ночь, заложив руки за голову, услышал, что кто-то бродит возле избы. Прислушался, понял, что это человек шарит в темноте по стенам избы, а потом, отыскав окно, стучит костяшками пальцев по стеклу — раз, другой.

— Юзас, Юзас!.. — услышал тихий зов.

Потом шаги стали подкрадываться к сеновалу. Все ближе. Раздался стук в дверь.

— Юзас! Юзас!..

Юзас сполз с высоких кладей сена, приоткрыл дверь. В темноте от двери отпрянула едва различимая тень.

— Это правда ты, Юзас? — спросила тень.

— Конель? — растерялся Юзас, узнав голос. — Откуда ты взялся?

— Не только Конель, Юзас. Моя Голда тут. Три дочки тут. Выручи, Юзас.

Конель говорил в кромешной тьме, не подходя ближе. Юзас скорее угадал, чем увидел, как отшатнулись от стены сеновала четыре тени. Молча подошли эти тени и дружно опустились перед ним на колени. Юзас стоял как во сне. Лица женщин не были видны. Головы у всех закутаны темными платками. И тогда все они заплакали или затянули негромкий еврейский псалом. Раскачивались всем телом в стороны и пели псалом. Пели и раскачивались. А может, плакали и раскачивались, Юзас не мог разобрать. Все четыре одновременно: то в одну, то в другую сторону. А Конель в это время совал Юзасу в руки какой-то предмет, круглый и скользкий, согретый ладонями Конеля.

— Один ты можешь нас выручить, Юзас, — говорил он при этом. — Всюду как на ладони все, всюду находят, всех забирают. Ты хороший человек, Юзас. Так и Голда моя говорит. А Голда всегда знает, что говорит.

Юзасу казалось, что это и впрямь ему снится. Попятился, оттолкнул руку Конеля, прикрикнул:

— погоди! Что ты мне суешь? Что это ты мне суешь?

И почувствовал, как тикает у него в руке этот предмет. Круглый, согретый руками Конеля.

— Не часы ли ты мне? — растерялся Юзас.

— Фамильные часы, Юзас. Золотые. Работы Фабера. Поставщика царского двора Фабера, Юзас. На шестнадцать алмазных камнях. Бери, Юзас.

Словно обухом его по голове огрели, стоял Юзас с часами в руке. Сразу же вспомнил, как по четвергам, в базарные дни, ровно в полдень выходил дедушка Конеля Енох на рынок перед скобяной лавкой и заводил ключиком эти часы: скрип, скрип, скрип!.. И все знали, сейчас ровно двенадцать часов. Не без минуты двенадцать и не минута после двенадцати, а ровно двенадцать. Даже споры торгующихся на базаре затихали. Все смотрели, как дедушка Конеля заводил ключиком часы. И все знали верное время. Самое верное, какое только может быть на свете. А когда, заведя механизм, дедушка Конеля хлопал крышкой своих часов, все вздрагивали и тут же начинали смеяться, так весело было людям на базаре слышать этот хлопок! Юзас слышал его еще ребенком, потом и взрослым. А когда умер дедушка Конеля, то вышел на рынок перед скобяной лавкой отец Конеля и тоже стал вращать ключиком: скрип, скрип, скрип!.. И снова все вздрагивали, а потом начинали смеяться, услышав хлопок крышки. И часы показывали время так точно, что сам ксендз-настоятель проверял по ним свои карманные швейцарские, примерно на половину меньше и заводимые не ключиком, а пуговкой сверху у часов. Все Юзас вспомнил.

— Такие часы мне?! — Юзас сунул подарок обратно Конелю.

Женщины у ног Юзаса вздрогнули. Теперь они уже точно не молились и не пели псалмы. Они рыдали. И рыдали так, что у Юзаса побежали му-

рашки по спине. Стоял, ничего не понимая, и тогда за рыданием женщин услышал голос Конеля:

— Так и ты не выручишь, Юзас? Вижу, не выручишь. Раз не взял, то не выручишь. Никто теперь не выручит Конеля. Это и моя Голда говорила, когда мы убегали из Мальдинишке: если не Юзас, то уже никто! Всех евреев в Мальдинишке забрали, всех угнали, а мы убежали. Голда знает, что говорит. Не стоило бежать.

Говорил Конель тихонечко, словно и не человек это промолвил, а ночной ветер шевельнул листком. Юзас смахнул рукавом испарину, вдруг проступившую на лбу. Ему показалось, что он сходит с ума.

— В чем же тебя выручить? И в чем не выручить? — проговорил, сам не зная, что говорит, и вдруг закричал: — Что же случилось?

— Что случилось, Юзас? Ты спрашиваешь, что случилось? Ты думаешь, я знаю, что случилось? Ты так думаешь, Юзас?

— Раз ты не знаешь, кто тогда знает?

— Послушай, Юзас. Я тебе говорю: всех евреев в Мальдинишке забрали, нет больше в Мальдинишке евреев. Много дней мы уже в лесу — Голда, и я, и три дочки. Мы убежали, Юзас. Сырым грибом питались в лесу, ягодой питались, на мху спали, а ты спрашиваешь, что случилось. В лесу теперь полно гитлеровских прислужников с белыми повязками, Кайрабале окружают, нас ищут, конец нам настал, Юзас, если ты не выручишь, конец!..

Конель больше не совал Юзасу часы. Сказал это и остался стоять в темноте. Высокий, почти незаметный. А женщины у ног Юзаса снова зарыдали в голос. Потихоньку, но в голос. Юзас смотрел на них и не мог разобрать, которая из них Голда, которая не Голда и чего они от него хотят. Они и Конель. И снова услышал голос Конеля:

— Еврей я.

— Еврей? — переспросил Юзас. — И что с того, что ты еврей?

— Что с того, что я еврей? Еврей я, Юзас! — сказал Конель.

— Натворил чего? — не мог взять в толк Юзас. — Что-нибудь от властей скрыл? Может, с железом попался? Чего тебе бежать-то?

— Еврей я, — снова сказал Конель. — И Голда моя еврейка, и дочки мои. Отец был еврей, дед тоже еврей...

Юзас посмотрел в темноте на Конеля. Потом на женщин. Те встали с колен, снова слились со стеной сеновала.

— Да чего ты вдруг расхвастался, Конель? Еврей, еврей, еврей... Думаешь, не знаю, что ты еврей?!

— Расстреляют меня, Юзас, — сказал Конель. — Если ты не выручишь, расстреляют. И мою Голду расстреляют, и моих дочек. Никого не останется, Юзас.

— Расстреляют? За что?

— Еврей я.

Юзас ничего больше не сказал, до того он был ошарашен. Конель нес какую-то околесицу. Расстреляют? Возьмут так сразу и расстреляют! За что?

Столько и грехов-то у Конеля, что железяку когда-нибудь косо отрубил. Кто за это расстреливает? А что еврей, так разве один Конель еврей? Полным-полно в Мальдинишке евреев. И не только в Мальдинишке. Где городок, там и еврей. Как же без них? Если не у еврея, то где ты хотя бы железа купишь? Ниток, иголок, ворвани для сапог? Скажешь, цыган тебе продаст?..

Даже усмехнулся Юзас в темноте. Но тут снова услышал голос Конеля. Конель говорил едва слышно. В Мальдинишке, дескать, нету больше евреев. Ни в одном городе Литвы их нету. Собрал их немец отовсюду. Пришел немец, посланный Гитлером, и собрал. И тут же велел всем евреям пришить на рукавах желтые звезды и ходить не там, где люди ходят, а посередине мостовой, только посередине. Чтобы еврей ни к кому не прикасались и к ним никто. А потом забрал немец всех и угнал...

— Куда угнал-то? — растерянно спросил Юзас.

— Угнал, Юзас. Сказали, канавы копать, дома строить, дороги прокладывать, шить или в кузнице ковать, Юзас. Выгнать-то выгнали, да не пригнали. На работы не пригнали, Юзас. Расстреляли. Многих перестреляли, Юзас.

— За что? — совсем опешил Юзас.

— Евреи они, Юзас.

— Еврей?!

На востоке уже стало светать. Коротка ночь летом! Конель засуетился, опять стал совать Юзасу часы.

— Ты возьми, возьми, Юзас. Фабера работа. Для царя, всея Руси работал Фабер. У царя в каждом кармане было по Фаберу. И на каждой стене тоже, Юзас. Царица просыпается поутру и тут же смотрит на Фабера у себя на стене, и знает, сколько проспала. О Фабер! Фабер, Юзас!.. Фабер ни на секунду меньше, ни на секунду больше не покажет, таков уж Фабер! Юзас, ты же всегда был умный человек, неужели теперь будешь не умный?

Юзас оттолкнул часы и отправился в избу. Зажег фонарь и вернулся с ним.

— Пошли! — только и сказал Конелю.

На сеновале повесил фонарь на балку, остановился возле кладей и принялся дергать сено.

— Таши и ты, — сказал Конелю. — Чего стоишь без дела?

Второй железный крюк торчал тут же, высунув из сена изогнутый баранкой черенок. Конель дернул раз, дернул другой, потом принялся вытаскивать крюк из сена, опершись обеими ногами о сруб кладей, но крюк ни с места. Юзас фыркнул в усы, толкнул крюк Конеля вглубь, потом взял на себя, и крюк вышел наружу с добрым клоком сена.

— Теперь видишь? Сперва вглубь надо, а потом назад, вглубь да назад, вглубь да назад. Сообразил?

Конель так и сделал. И даже рассмеялся, когда у него стало получаться. Дергали сено теперь оба. Конель даже вспотел, и Юзасушибанул в нос дурной дух. Промокшей одеждой да болотным илом несло от Конеля.

— И воняешь же ты, Конель, — не выдержал.

— Как тут не вонять, Юзас,— отозвался Конель, не прекращая работы. — Много ли мыла на Кайрабале?

На полу все росла куча сена, а Юзас с Конелем уже углубились в кладь. Словно в нору ушли. И трудились дальше, пока крюки не ударились о противоположную стену.

— Перестарались,— сказал Юзас.

Он закрыл обнажившиеся бревна сеном, потом вышел на двор, принес жерди, оставшиеся от крыши избы, и стал подпирать ими верх и стены той норы, чтоб сено не осыпалось. Заделал вход, оставив лишь лазейку человеку, чтобы мог заползти внутрь. Конель хотел помочь, но Юзас отмахнулся: не надо, мол, отдохни.

— Значит, ты понял, Юзас? — спросил Конель. — Уже понял?..

— Много говоришь!

Юзас, посапывая, продолжал трудиться. Каморка в сене получилась широкой и высокой. Хоть целый год живи, лежи или сиди, а захотел, на ногах стой. Юзас взял фонарь, еще раз забрался внутрь, прощупал каждую жердину в стенах да потолке, все хорошо, одно только нехорошо. Тогда-то Юзас принес дренажную трубу. Давно валялась на хуторе эта труба. Как-то нашел он ее на поле в поместье Норюнасов. Шел полем вдоль канавы, смотрит, бежит вода из трубы в канаву. Очень хорошая, студеная вода. Юзас напился, потом даже лицо сполоснул, до того хороша оказалась водица в летнюю жару. А потом взял трубу обеими руками и потянул, а поскольку труба подалась, то и притащил ее домой, сам толком не понимая, что с ней будет делать. Так и появилась труба в отцовском доме, а потом и на Кайрабале, куда Юзас переселился жить после достопамятной свадьбы Винцюне. Забрал трубу с собой. А сейчас и пригодилась она. Забрался Юзас с ней в глубь норы, позвал с собой Конеля, протолкнул конец трубы между бревнами в стене и показал:

— В эту и будешь ходить. По малому будешь ходить, не по большому.

Теперь уже все было как полагается. Поэтому Юзас и сказал Конелю:

— Кликни-ка своих баб.

Конель пошел за женщинами, а Юзас в избу. Здесь хлеба нарезал и мяса, разрубил топором сушеный сыр, нацедил в кладовой полный кувшин кваса и все притащил на сеновал. Конель сидел у лаза в сене, видно, поджидал Юзаса.

— Бабы-то где? — спросил Юзас.

Конель показал рукой в глубь кладей.

— А ты чего тут, не внутри?

— Юзас,— проговорил Конель,— я хотел тебе сказать, Юзас... Ты знаешь, что я хотел тебе сказать?..

Уже малость рассвело, и Юзас увидел, Конель вот-вот расплачется.

— Я должен сказать, Юзас... Если меня найдут... На сеновале если найдут... Меня, и мою Голду, и всех моих дочек... Юзас, ты будешь расстрелян,

Юзас. В одной яме будешь. С нами в одной яме. Немцы так и сказали и на стенах понаписали: кто за еврея, того с евреями... Я должен был тебе это сказать, Юзас. Ты подумай, Юзас.

Юзас помолчал.

— Много говоришь! — сурово прикрикнул на Конеля.

— Я должен был сказать, Юзас. Я и моей Голде сказал: объясню Юзасу, а Юзас уж прикинет, что ему делать. Ты прикинешь, Юзас? Прикинешь, а тогда мне скажешь. Правда, Юзас?

Юзас одним толчком запихал Конеля в нору. Сам заполз вслед за ним. Не говоря больше ни слова, разложил в свете фонаря, что принес. Вышел, заставил жердями лаз, забросал сеном и пригладил его так, будто ничего больше здесь не было, кроме сена. Одно только сено на сеновале.

23

Еще не взошло как следует солнце, когда Юзас увидел, что по гати к хутору приближается Стонкусов сынок. Не один, еще пять мужчин топали вслед за ним. Все как один с винтовками наперевес и с белыми повязками на рукавах. И все то и дело поглядывали на Стонкусова сынка. Ждали, что тот скажет да что прикажет. А Стонкусов сынок без винтовки, зато с пистолетом. И пиджак на нем не тот, в котором прибежал он к Юзасу, а черный. Не кожаный, но блестит пострашнее кожаного. Резиновый, наверно.

— Здорово, дядя! — окликнул издалека.

— Может, и здорово.

— Евреев-то куда дел?

— Евреев тебе?..

— Ты, дядя Юзас, не шути, говори прямо, куда их засунул.

— Раз засунул, то поищи. Может, тебе лучше повезет! — Юзас усмехнулся в усы и добавил: — Мне вот не везет.

Стонкусов сынок зыркнул на Юзаса исподлобья и ничего не ответил, только головой мотнул. Пятеро мужчин с винтовками наперевес бросились врассыпную. Рылись, копались, шарили в избе, потом в хлеву, на гумне, двое бросились на сеновал, тыкали вилами в сено, один даже на клада взобрался. И вернулись к избе распаренные, чумазые, потные.

— Ничего не обнаружено, господин лейтенант! — прищелкнули каблуками сапог.

— Раззявы! — щеки Стонкусова сынка покрылись краской. — Ищите, пока не будет обнаружено!

Опять все вверх тормашками на хуторе Юзаса. Даже в колодец опустились мужчины, прощупали каждое бревнышко сруба. До вечера занимались этим делом пятеро. И опять:

— Ничего не обнаружено, господин лейтенант!..

Стонкусов сынок посмотрел на Юзаса. Тот сидел на лавке под окном. Неторопливо попыхивал трубкой. Стонкусов сынок уселся рядом, махнул своим людям, чтобы отошли.

— А может, по-хорошему, дядя? — спросил. — Я-то ведь и арестовать тебя могу. Вот передам куда надо, вернешься ли живой?

— Передавай, там видно будет, — ответил Юзас. Стонкусов сынок помолчал.

— Весьма прискорбно, дядя Юзас, что ты не понимаешь ситуации. Евреи должны быть сметены с лица земли, и они будут сметены, укроешь ты парочку евреев или не укроешь. Раньше, позже, все равно найдем. Тогда и тебя, дядя Юзас, а зачем это тебе нужно? Против ветра не подуешь, как человек тебе говорю.

Юзас молчал.

— Будь и ты человеком, дядя Юзас. Конели всей семьей убежали, следы ведут на твой хутор, никуда больше. Последний раз по-хорошему прошу!

Юзас наклонился, выколотил трубку о каблук башмака, выпрямился, посмотрел сыну Винцюне в глаза и сказал:

— Раз ты как человек, то и я как человек. Будь они у меня, не отдал бы я тебе евреев.

Стонкусов сынок поднялся с лавки.

— Вот этого я и ждал. Теперь одно тебе скажу: разговор еще не окончен. Еще не окончен, дядя.

— И мне так сдается, — сказал Юзас.

Ушел вдаль по гати Стонкусов сынок. И те пятеро шагали вслед за ним.

Неделю, а то и больше ждал Юзас его появления, но так и не дождался. Может, поверил Юзасу, может, в других краях охотился на людей. Поэтому в один прекрасный день решил Юзас растопить баньку. Самое время было: дух Конелей шибал из сена, заглушая чабрец, идешь мимо и нос зажимай. Заглянул бы чужой, сразу бы догадался, что к чему. Растопил баньку Юзас жарко, как давно уже не топил. И камней набросал в печь, а когда те заагнали поярче самого огня, брал их длинными деревянными щипцами и медленно опускал в кадку с водой, поставленную тут же, рядом с печью и наполненную водой до краев. Вода булькала, разлетались брызги, вверх валили клубы пара, даже скрипели железные обручи кадки. Опустив все камни, Юзас сунул в кадку веники, чтобы мокли, лучше прилипали к телу, когда начнешь ими хлестать, а потом приготовил вторую кадку воды, тепленькой, чтобы смыть мыльную пену, и третью, студеной, чтобы обливаться, когда, уморившись от пара, лежишь на полке плашмя. А полки ошпарил кипятком из кадки, когда уже шумело и клекотало от раскаленных камней, отдраил голиком, ошпарил еще раз, а потом принес в предбанник кувшин крепкого свекольного кваса, заткнув его полотенцем, и собственное исподнее белье, выстиранное да выкатанное, лежавшее в сундуке и ждавшее, когда понадобится, а в придачу свои штаны из домотканины и такой же пиджак. Оденется Конель после бани во все чистое и походит так, пока не выстирает да не высушит на жердочке под потолком бани свою одежду.

Баню готовил Юзас словно перед праздником, сам толком не понимая, отчего так поступает, а все приготовив, пошел звать Конеля в парилку. Тот по-

просил раньше пустить в баню женщин, но Юзас знал: только пусти их в баню, посидеешь, дожидаясь за дверью, пока будут плескаться, а дождавшись, не найдешь в бане ни пару, ни кипятка. Издавна повелось, что мужчины идут в баню раньше женщин. Так будет и сегодня, а не иначе, как бы ни умолял его этот Конель. Конель, конечно, уступил, поскольку был только гостем в доме Юзаса, да еще незванным, непрошеным и нельзя сказать, чтоб долгожданным. Юзас битый час охаживал веником Конеля, уложив на средний полók, а когда тот взвыл, что сил больше нету, напоил его свекольным кваском, принес кувшин из предбанника, да окатил холодной водой из кадки. А когда гость малость очухался, велел ему взобраться на верхний полók, где было еще жарче, а сам зачерпнул второе ведро и, заправив воду свекольным кваском, выплеснул на каменку. Огненный пар ударил под потолок, и Юзас, снова принявшись стегать веником Конеля, увидел, что тот не кричит уже, а лежит, сомлев, едва живой. Стащил его с полка, вынес в предбанник и, прислонив к стене, принялся снова отпаивать холодным свекольным кваском, пока Конель не приобрел человеческого вида. Потом обратно в баньку. И так несколько раз.

Вышли после всего этого оба, пошатываясь от пара и блаженства, кликнули женщин, проводили их до двери баньки, и Юзас вручил каждой по куску мыла чуть ли не с полкирпича величиной, сваренного самим Юзасом, едкого, будто щелок. И женщины засиделись в баньке почти до зари, как и предполагал Юзас, а когда вышли, то каждая несла под мышкой свою постирушку и каждая закрывала при этом лицо, как и в тот первый вечер, когда появились на Кайрабале. Юзас долго глядел, как они идут в предрассветном мраке, словно не женщины это, а лаумы из сказки дедушки Йокубаса, и у него стеснило сердце оттого, что идут они вот так, закрывая от него лица, а он-то ведь ничего худого им не сделал да еще положил в предбаннике для каждой по широкой простыне, чтоб завернуться, когда хорошенько вытрутся полотенцами. Почему они сейчас не только тело, но и головы закрыли простынями и глаза прячут от него, от Юзаса? Даже поежил он, так стеснило у него сердце.

Юзас стал просыпаться посреди ночи от нытья в сердце. Выходил во двор, в теплый ночной воздух, садился на лавочку под окном избы и просиживал так до утра. Хутор объят сном, тихо на сеновале, где живут в кладях сена эти Конели, только сова ухает в далеком лесу, а он сидит. Сидит, и все тут. И не очень-то понимает, что творится с его сердцем и почему он так сидит, совершенно один.

Он верил и опять не верил тому, что услышал от Конеля. Известное дело, война. На войне человек — уже не тот человек. Очень даже всякого можно ждать от человека в войну. Но неужели и та-

кого? Неужели и впрямь можно расстрелять человека только за то, что нос у него длиннее, чем у других, или что волосы другого цвета? Так ведь и у него, Юзаса, нос длиннее, чем у многих, значит, и его, Юзаса?.. Перепугался этот Конель, и все тут. Перепуганный человек тоже не тот уже человек. Глаза у него другие. Видят не только то, что есть, но и то, чего нет и даже чего быть не может. Наверняка и с Конелем сейчас такое. Такое...

И не вытерпел Юзас. Выбрался в Мальдинишке. Сиднем сидючи, немного поймешь. Посидишь на одном месте, и тебе самому начнет мерещиться то, чего не было и быть не может.

Вышел с раннего утра и сразу же за своей гатью увидел, что ветер играет на ржищах, всюду пусто, поля выкошены, хлеба увезены на гумна, лишь лен кое-где позванивает головками с щепотками семян. И воробы уже по-осеннему, дурными голосами каркают на придорожных деревьях. Бывало, вороны больше по земле бродят, ищут, молча выдирают из пашни червяка, а сейчас вот сидят на деревьях, и не молчит ни одна. Увидел Юзас издали, как над садом настоятеля плывет в облаках белая колокольня Мальдинишке. Облака стоят на месте, а колокольня плывет. Играючи плывет, словно и не каменная она, а сама будто облачко. Сотни, а то и больше раз проходил Юзас по этому проселку. Еще ребенком и потом, когда подрос, стал широк в плечах. И каждый раз издали видел эту белую колокольню в Мальдинишке. В дождь и в снег, в ведро и в слякоть колокольня всегда белела издали. Даже когда провожал отца с матушкой на кладбище, она была точь-в-точь такая. Вот и сейчас шел Юзас, заглядевшись на эту колокольню, и ему снова не верилось, что Конель говорит правду. Война, конечно. Но разве впервые война людям на голову сваливается? Сколько живут люди, все войны да войны. Одна за другой людям на голову. Спроси самого древнего старика, что он помнит, сразу ответит: войну помню. Прежде всего войну. Была такая-то война, а была еще и такая-то. Не с луны же и эти кости, что под вишнями рядом с Карусе. Война... Раньше люди в войну стреляли и штыками друг друга протыкали только на фронте, нигде больше. Но почему же теперь человек иначе? Не как в другие войны? Теперь же и не разберешь, где фронт, а где не фронт: там стреляют и тут стреляют. На фронте хоть мужчина на мужчину идет, у одного в руке винтовка и у другого в руке винтовка, а тут? Мужчины с винтовками против ребятишек, против женщин, против мужчин, если только у тех носы подлиннее да масть не та, что требуется тем, с винтовками. Как же может быть такое?! Конелю, наверно, померещилось...

Так думал Юзас всю дорогу и даже входя в Мальдинишке, когда кончились поля и начался городок. А войдя, остановился, увидев, что вроде и не в Мальдинишке пришел, и не на ее базарной площади оказался, а совсем в другом месте, в Ализаве, или Гелажай, или еще где-нибудь. От всех кабаков, где люди раньше магарыч пропивали да ударяли

по рукам при сделках, остался лишь опаленный пустырь с разбросанными, потрескавшимися от жара бутовыми камнями, кучами пепла и черных угольев. И на месте множества еврейских лавок, стоявших стена к стене, уцелела лишь одна-другая, да и те, что уцелели, зияют вышибленными дверьми; а там, где была скобяная лавка Конеля, торчит из мостовой высокий камень, как и раньше, когда Конель перерубал на нем железо, а больше ни следа от всей его лавки. Ни следа.

Юзас стоял и смотрел на все это.

— А тебе тут чего? — услышал мужской голос.

Не сразу узнал Юзас Урнежюса, которого видел в волостной управе, когда его отвел туда кузнец Шаркюнас.

— Гляжу, — щевельнул губами Юзас.

— Много было глядевших, мало осталось видящих. Чего же тебе на самом деле?

— Евреев куда подевали?

— Евреев? А может, тебе и комиссары нужны?

Юзас грузно повернулся к Урнежюсу.

— Какие еще комиссары?

— Какие комиссары-то?! А которых выдают да продают, вот какие! Большой спрос сейчас на комиссаров, поторопись!

Юзас посмотрел на Урнежюса в упор. Какая муха того укусила? Смеется над ним, что ли? И увидел: рассвирепел Урнежюс, просто в ярости, смотреть на Юзаса не может.

— По-хорошему говорю: убирайся! — процедил сквозь зубы Урнежюс.

— Не ты меня сюда звал, так чего тут? — ответил Юзас.

— А я тебе опять по-хорошему: убирайся и воняй у себя на болоте, а то не сносить тебе головы на плечах!

Даже вздрогнул Юзас от этих слов. Никто с ним так не разговаривал. Никто и никогда. Стоял, глядел на Урнежюса и чувствовал, что невидимый обруч все сильнее давит ему виски. А Урнежюс сделал шаг к нему и наклонился к самому уху Юзаса.

— Не у меня, у своего Стонкуса про евреев спрашивай!

Юзас понял, что у него побелело лицо. Кровь прихлынула к сердцу, а лицо все бледнее и бледнее. Оцепенев, стоял он перед Урнежюсом.

— И про председателя Шаркюнаса спроси! И про тех бедняков, которым землю отрезали от кулацких полей. И про коммунистов, комсомольцев, про советский актив... Про всех спроси у своего выкорыща. Тебе-то он скажет.

— Подожди... — потемнело в глазах у Юзаса.

— А твой выкорыщ разве ждет? — отрубил Урнежюс. — Тот, кого ты салом на Кайрабале потчевал? Или подзабыл уже?

Едва не пошатнулся Юзас. А Урнежюс усмехался все злее, у краешков губ обнажились зубы, а спереди нет. Куда-то подевались передние зубы Урнежюса. Глаза сузились, будто щелки.

— И которому ты винтовку дал, — швырнул Урнежюс в лицо Юзасу.

— Винтовку?.. — с трудом сглотнул слюну Юзас.

— Не кочергу же! Кочергу небось для себя оставил. Пригодится еще тебе, чего доброго. А с твоей винтовкой и начал Стонкусов сынок в Мальдинишке шуровать. Теперь уже бросил ее, отдал тем, что пониже. Теперь только с пистолетом твой выкормыш, на сале отожравшийся, на перине отоспавшийся, до завтрака не буженный, как в песне поется. Самый главный в Мальдинишке!

— Стонкусов сынок... — только и вымолвил Юзас.

— Твой выкормыш! Спроси у него, тогда узнаешь, где евреи Мальдинишке, где актив. Тебе-то он скажет. Тебе, благодетелю своему, все как есть скажет!

Урнежюс резал плеча. И у Юзаса не было сил ни возразить ему, ни слушать. Один-единственный раз он видел этого Урнежюса вблизи. Знал, что живет на краю Мальдинишке, что у него жена и, кажется, двое ребят, что летом ходит по деревням и ставит глинобитные хлева, этим и кормится. Молчун, ничем не выделяется из других. А теперь стоял перед Юзасом совершенно другой человек. Чужой человек. Не Урнежюс, а судья.

— В волостной управе твой выкормыш сейчас сидит, — как во сне, слышал его голос Юзас. — Пойди, помилуйся с ним. Не зря ведь всем хвастает, как ты на Кайрабале его обихаживал. Подмел он городок подчистую со своими дружками! Евреев и неевреев, актив и неактив, всех, на кого зуб имел.

Юзас молчал. Глядел на землю под своими ногами. А земля словно вздрогнула да покачнулась.

— Чеши к себе на Кайрабале, по-хорошему тебе говорю. Пока люди тебя тут не увидели. Ног не унесешь!..

Вот так говорил Урнежюс, а Юзас стоял перед ним, все ниже и ниже склоняя голову. Он не знал уже, как долго стоит, только вдруг понял, что не слышит больше голоса Урнежюса, а подняв голову, увидел: нет и самого Урнежюса. Будто тот в болотное окно провалился или испарился в облаках. Юзас стоял один-одинешенек посреди Мальдинишке перед потрескавшимися от огня бутовыми камнями.

Встряхнул головой. Снова почудилось, что видит сон. Стоит и видит сон.

Вернувшись на Кайрабале, Юзас привез глины. Свежей, отличной глины. Одну телегу пригнал, потом вторую, а подумав, и третью. Мял ее вместе с просеянным песочком, набивал деревянную клетку, которую сам склотил еще в год новоселья, и делал кирпичи. Раскладывал их рядами на солнышке на откосе холма, где ветер продувал насквозь, а солнце не так сильно пекло, чтоб затвердели дагодились для кладки. Наготовив кирпичей, Юзас зашел в избу, разобрал заднюю стенку у печи, вынул дверь чулана, что была рядом, да пошире вырубил дверной проем, как раз такой, чтобы можно было печку пустить на всю стену. Управившись с этим, Юзас

развел глиняный раствор, взяв в руки кельму, кирпич за кирпичом подводил заднюю стенку печи до самой стены, а потом и через стену, чтобы зимой обогревала не только избу, но и чулан. Вход же в чулан прорубил из хлева, прикинув, что потом можно его заслонить жердями да прикрыть соломой — есть дверь и вроде бы нет ее. Так надо сейчас.

Трудился Юзас, оторвавшись от старой своей работы по хутору, за новую не взявшись как следует, так что, пока все щели загладил, потайную дверь устроил да печь известью заново побелил, погрузнели тучи над Кайрабале, суля недобрый первый снег, мутные лужи да ломоту в костях.

Остался еще дымволок. Был он прорублен в потолке избы, чтоб вытягивать дым не только из избы, из чулана тоже, и не прямо, как из избы, а через дощатое колено, выведенное оттуда. Никто не делал такого дощатого дымволока, Юзас и в глаза такого не видал, не знал, как браться за такое дело. А может, и не стоит браться-то? Как раз кирпич остался от печи и железо для каменной кладки, то самое железо, которое когда-то в потемках продал Конель. Так может, и трубу одним заходом? Многие избы вокруг уже с трубами, а у него, Юзаса, дым глаза ест каждое утро, одежда до нитки им пропитана, даже издали от него, от Юзаса, дымом несет в костеле или на базаре. До морозов он бы и поставил эту трубу. Сочельник уже с трубой отпраздновал бы. Как те. Все те, кто в избах с трубами вокруг Кайрабале. Долго собирался Юзас, но так и не собрался. Труба, конечно, хорошо, да ведь совсем без дыма тоже ни то ни се. Дым-то тепло держит. Так держит, что во всех углах избы теплынь до следующей топки наутро. А с трубой всякое бывает. От дыма-то и клопы с писком убегают из дому, и прочая живность не держится, а от трубы кто побежит? Любая тварь льнет к трубе, туда, где чисто да дымом не воняет. Только погаси лампу, ложись в кровать, а клоп уже тут как тут: кусает, жрет тебя, будто для него ты разлежся, ни для кого другого. Сколько мужиков этих, с трубами, тащило из Мальдинишке серу, уксусную эссенцию, прочие снадобья, дымили, окуривали из горшка, на все щели в стенах изнутри и снаружи брызгали, а толку-то? Никакого. Сера для клопа вроде кадила, только веселеет клоп от нее. И что для клопа уксус? Смех один, ничего больше!

Даже улыбнулся Юзас, прикинув да обдумав все, а тогда уже топор в руки да на чердак.

Пока вывел дощатое колено из чуланчика в избу, пока устроил для него задвижку, мороз ударил по болоту, покрыл льдом мшаники да окна на Кайрабале. Настал час звать Конелей из норы ихней. Раз уж приютит, так и согрей.

— Хороший ты человек, Юзас, — только и сказал Конель.

Юзас буркнул, что, может, он и хороший, а может, и не очень-то: в чулане места на одного или на двух, а их-то сколько? Целых пять. Разве стоять всем в этом чулане? А как долго выдержит на ногах человек?

— Кто говорит, что долго, Юзас? — отозвался Конель. — Человек, только лежа, долго выдерживает. В могиле долго. А пока жив, недолго, недолго, Юзас. Сиди или стой, так и так недолго.

Юзас ничего больше не сказал, пошел к хлеву, высоко подняв в руке фонарь, показывая всем, чтобы следовали за ним. А когда зашли они в чулан, то увидели, что есть тут место не только чтобы стать, но и лечь на нарах, которые он устроил у стены. И сесть есть за что. Собственными руками сколотил Юзас стол, широкий и длинный: не только этих пятерых, но еще и других пятерых за него усадишь.

— Окон-то нету, — сказал. — И не будет окон. Некуда мне их выводить.

Конель стоял в чулане и глядел на Юзаса в колеблющемся свете фонаря. Глядел и улыбался. И женщины тоже. Стояли вокруг Юзаса, уже не скрывая лиц, и Юзас сразу же подметил, что совсем ничего эта Конельша. Эта Голда. Фонарь освещает ее скудно, как-то мутновато, не скажешь, что молода Конельша, белая изморозь в ее волосах, черных и густых, а все равно. Все равно! Лучше всего глаза. Одно слово — чернослив, да еще поблескивают в уголках, будто ртуть в них налита. Глянет своими глазами, и ты уже видишь: эта женщина хочет, чтоб тебе было хорошо. Только чтоб хорошо. Ничего другого ей не надо. А когда повернулся Юзас к дочкам Конеля, увидел, что и эти. И эти. Только глаза у них еще лучистые. И смотрят на него, чуть опустив головы.

— Бедный ты, Юзас, — услышал он голос Конеля.

— Еще чего?.. — Юзас опустил руку с фонарем.

Теперь светло стало только у ног людей. Не было видно ни изморози Голдиной, ни опущенных голов дочек Конеля. Пропали в темноте.

— Хороший, хороший, а бедный ты, Юзас, — снова сказал Конель.

Юзас швырнул на стол коробку спичек, махнул рукой в темноту.

— Лампа тут!

Вышел, со стуком закрывая дверь.

Лампу он тоже заранее повесил на стену, загнав в нее крепкий гвоздь. Хорошую керосиновую лампу, зеленую, с прозрачным стеклом. Давным-давно уже купил ее, домой привез, а вот не зажигал ни разу. Не было нужды. А сейчас повесил. Пускай зажгут ее Конели, пускай. Все пускай. И какой я для них, черт возьми, бедный!..

Войдя в хлев, принялся закрывать жердями и соломой дверь. Оставил только узенький лаз из чулана в хлев. У самой морды буренки. Чулан — это не сеновал, дренажную трубу не вставишь, когда понадобится Конелям, пускай обходятся как-нибудь тут же, под носом у буренки. А когда и с этим делом управился, улыбнулся снова: славно у него получилось, лишний глаз может рыскать по хлеву хоть целый день или ночь да фонарем светить, а увидит только облипшую соломинками стену, ничего больше. Ничего больше. И Юзас увидел, что буренка перестала жевать и смотрит на потайную дверь. Смо-

трит и молчит. Не двигает челюстями. Явно понимает, что здесь натворил Юзас.

— А твое-то какое дело? — без злости прикрикнул на корову Юзас.

И корова снова принялась жевать жвачку.

С той ночи Юзас вставал ни свет ни заря. Топил печь, чтобы согрелся чулан, варил завтрак, жарил гречневые и гороховые оладьи, меняя через день, чтоб не прискучили, а к оладьям делал подливку из протертой отварной картошки. Картошка в этом году, слава богу, уродилась белая, рассыпчатая, на смертном ложе такой захочется. И резал хлеб, который сам грубо молот и сам пек. На мельницу он в жизни не возил рожь молоть. Неважная мука выходит из-под жерновов, отдает она тертым камнем. Не только человек, поросенок и тот пятачок воротит. Зерно лишь тогда зерном остается, когда, грубо смолотое, оно свою белую серединку человеку показывает. Выпечешь из такой муки хлеб, понюхаешь жаркий его дух и, можно сказать, поел. Вот такой хлеб резал Юзас. Толстыми ломтями, как для себя, а не как для незваного гостя. Клал хлеб рядом с похлебкой и мясом на широкую доску и нес в чулан, взявшись обеими руками за края доски, а Конель прежде всего к хлебу руку протягивал, откусывал темно-коричневую корочку и приговаривал:

— Когда человек хороший, то и хлеб у него... Вот это хлеб так хлеб!

Нес Юзас и молоко, нацедив парное в высокий глиняный кувшин, и меду, и квашеной капусты, набрав из бочонка в амбаре, прохладную, разукрашенную клюквинами, частенько и линия едва ли не с поросенка величиной да поджаренного на широкой сковороде с луком, и, когда Конели чмокали от удовольствия, всякий раз оправдывался:

— Чем богат, тем и рад.

Юзас знал, что еврейский бог — это тебе не бог католиков, не разрешает своим верующим есть свинину. Поэтому зарезал двухлетнего бычка. Собирался отвести его на базар да продать, но раз уж так, что поделаешь... Засолил мясо в деревянной лохани, которую сам выдолбил из толстенной осины, долго поливал рассолом да посыпал тертым чесночком, ведь для еврея мясо без чеснока что для литовца без соли, а потом прокоптил говядину на можжевелевом дыму. Вот и получилось такое мясо, что, когда отнес его в чулан, у Конеля глаза на лоб полезли, а Голда с дочками так и просияла, глядя на Юзаса. Видел Юзас: похорошела за эти недели Голда, да и дочери так расцвели, что опасно на них долго смотреть. И Конель, глубоко вздохнув, сказал, что уже не раз говорил:

— Бедный ты, хороший ты, наш Юзас!..

— Что есть, то на стол...

Так пришла на Кайрабале зима. Настоящая зима, не треск первого ледка на кочкарниках. Занесла, застелила Кайрабале пухлыми сугробами, заковала в сталь болотные окна, до подмышек утопила в снегу плаксивые березки и чахлые болотные сосенки. Ни птица не пролетит, ни зверь не пробежит. Только ветер завывает по ночам, злобно набрасы-

ваясь на все, что попадется на дороге. Юзас знал: сейчас рождественский пост, у волков течка, лучше не совать носа из избы. Но знал и другое: пора отправиться в Видугире да позаботиться о дровах на будущий год. Точно пора. Прозеваешь первопуток, когда снег твердеет, дороги гладкие, и стучи всю следующую зиму зубами у холодной печки да заиндевевших окошек. Знал, но не трогался в лес. Как живой стоял перед глазами Юзаса ивняк, красными шапками расцветший прошлой зимой в Видугире да заливший кровавыми отсветами сугробы. Нет, не трогался в путь Юзас. Выходил во двор, долго стоял на морозе и ветру, а потом возвращался в избу: нет, сегодня еще не поедет, может, завтра или послезавтра...

А дни бежали, бежали, бежали. Лютовала зима.

26

Юзас забылся сладким утренним сном. Не утренним, по правде говоря, а полуночным. И словно шел он по льду. Не по льду даже, а по сухому ледку. Вода обмелела от морозов, ушла вглубь, а ледок держится наверху, побелевший, обескровленный. Хрусть, хрусть, хрусть — трещит ледок у Юзаса под ногами. А он идет все дальше, дальше. Все идет Юзас. Уже и другой край ледка виден в тумане. Хрусть, хрусть, хрусть!.. Скоро земля. А лед — бах! — вдоль да поперек. Юзас — в расщелину! До подмышек. Локтями за края льда держится, а ноги в воде. Немного этой воды, а засасывает, тянет ноги вглубь. Скоро не только ноги засосет, но и его всего. И видит Юзас, что край льда удаляется и твердая земля убегает все дальше, дальше, дальше...

Юзас закричал, задохнувшись, шибанул локтями по льду, ухватился за него, приподнялся, вытаскивает ноги, пытается спастись от засасывающей воды и видит — не спасется. И закричал изо всех сил...

Проснулся Юзас в холодном поту. Долго сидел на кровати, не понимая, где находится, вытирая рукавом сорочки потное лицо, очумело глядел в темноту и все не мог понять, что с ним. В ушах все еще раздавался треск раскалывающегося льда: бах, бабах! Словно здесь, под ногами, и словно не здесь, на Кайрабале, а в Видугире или даже за Видугире...

Набросив на плечи тулуп, Юзас сунул босые ноги в деревянные башмаки. Обошел хутор, оглядел каждый угол избы. Тихо всюду. Спокойно. Коровы жуют жвачку в хлеву, Конели спят в чулане. Спокойно. И Юзас отправился обратно в избу.

А тут опять: бах, бах, ба-бах!.. Да еще так близко, рядышком, чуть ли не под ногами, на Кайрабале. Неужто ему опять снится? Юзас встал из-за стола, снова вышел на двор и прислушался, напрягая слух. Опять тишина. Только ночь спустилась. Предраассветная темень на дворе, снег падает во мраке. Бесшумно падает. Редкий мокрый снег. Такой снег редко бывает в рождественский пост, когда волки в лесах встают на задние лапы и дерутся пе-

редними, как подвыпившие парни из-за девок, а волчица ждет, кто окажется сильнее. Постоял Юзас, послушал. Тишина. Ей-богу, тишина. Скоро начнет светать.

Юзас вернулся в избу, раскурил трубку. Ложиться поздно, вставать рано. Облокотился на стол, дымил едким самосадам.

И вдруг — стук-стук-стук!.. — в окно со двора.

Тихонько постучали. Так тихо, что Юзас не сразу понял, стучат это или ветер поскреб по стеклу веткой.

— Кого бог послал? — попробовал разглядеть сквозь цветы инея на стекле.

— Дядя, дяденька Юзас... — негромко позвал кто-то.

Холодок пробежал по спине Юзаса. То узнавал этот голос, то не узнавал. Своим ушам не поверил. Голос-то был Адомелиса! Юзас открыл дверь.

— Заходи, заходи.

Вошли вдвоем. Остановились у порога в темноте. Один стоял прямо, другой полувисел, ухватившись за плечо приятеля. Юзас пристально вгляделся в темноту.

— А этот кто? — спросил.

— Это Вася, дяденька Юзас.

— Какой еще Вася? Не русский ли?

— Солдат. Из окружения вырвался осенью, голодал в лесах, а сейчас у нас в партизанском отряде. Был в нашем отряде... пока отряд был. Выручи, дяденька Юзас. На пятки насаждают!..

— Кто насаждает?

— Стонкусов сынок с полициями. На их засаду нарвались. Слыхал выстрелы? Если можешь, не тяни, говори сразу. Подадимся еще куда-нибудь... Каждая минута дорога!

Юзас зажег лампу, прикрыл рукою глаза от света. Умаялись, с ног сбились оба. Не люди, а кучи заляпанного грязью тряпья. У Васи рука завязана. И голова завязана. И повязки потемнели, не скажешь даже, чем забинтован человек.

— Ты один тропу через Кайрабале знаешь, дядя Юзас, — торопливо говорил Адомелис. — Переведи нас. Пока темно, мимо болотных окон, чтобы комар не пискнул. Нету для нас другой дороги и нету другого спасения. Со всех сторон окружили!

Юзас тянул с жерди сапоги. Праздничные сапоги, которые висели здесь уже которую зиму, но на ногах оказывались лишь в храмовый праздник, рождество или пасху. Швырнул Адомелису.

— Надень-ка эти.

— Дяденька Юзас... Это ж твои праздничные!..

— Не мешкай!

Привстал Юзас на колени у кровати, достал из-под нее другие, уже будничные, порядком потасканные по снегу и слякоти. Эти протянул Васе. Откинув крышку сундука, достал носки из толстой шерстяной пряжи, одну и другую пару.

— Переобуйтесь оба.

— Дяденька, да ведь некогда! — топтался с сапогами в руках Адомелис. — На пятки насаждают!..

— Не насядут, — сказал Юзас. — А ежели голы-

шом убежишь, у первого куста свалишься. Тогда уж точно насядут.

Взял со стола каравай хлеба, только вчера початый, прикрытый льняным рушником, залез в шкафчик, отчикнул ножом добрый шмат сала, завернул все в рушник и протянул Адомелису.

— Держи.

Вынул из сундука и двое штанов из толстой домотканины. Скотал в узелок, перетянул веревкой.

— Раз уж наседают, с собой берите,— сказал.— На той стороне переоденетесь.

Знал Юзас потайную тропу. Мимо болотных окон, мимо засасывающих зыбунов, которых не могли сковать даже крещенские морозы. Показал ему эту тропу дедушка Йокубас. Одному из всего рода. Но показал летом да еще при свете дня. А сейчас не лето и не день. Хоть глаз выколи сейчас на Кайрабале. Да и снежок идет, застилает все мокрой кашей. Вот Юзас и тыкал шестом, каждый шаг проверял, ставить ногу или не ставить, а поставив, долго прислушивался, не булькнет ли под ногой зыбун, не разверзнется ли подо мхом бездна. Так и шел Юзас, на каждом шагу нашаривая в кромешной тьме кочки потайной тропы, упругие и крепкие, скрытые под водой да под мшаником, и все оглядывался на парней.

— Чтоб за мной!.. Только за мной!.. След в след, чтоб ни на полшага в сторону.

У парней тоже были в руках шесты, которые Юзас вручил им на хуторе, а на спине несли то, что получили из щедрых рук Юзасовых. Обоих пот прошиб, глядели во все глаза, но не видели ничего, кроме маячащей впереди спины Юзаса. Так вот и шли гуськом. Со стороны не очень-то определишь даже, в какую сторону шли, до того медленно продвигались. Ночь уже подходила к концу, когда добрались до вереска на том берегу Кайрабале. Заскрипел под ногами прочный лед. А снег валил, как и положено на рассвете, запорошив белым всех троих, в двух шагах не различишь человека. Остановился Юзас, показал шестом вперед, на сосняк.

— Чешите.

— Спасибо, дяденька Юзас! Спас ты нас с Васей. Жить буду, век не забуду!.. — дрожа от волнения, говорил Адомелис.

— Забудешь,— сказал Юзас.

— Дяденька, да что ты говоришь?

— Чеши.

Юзас видел, мало силенок у них осталось, в три погибели согнулись, потом обливаются, отдышаться не могут. Только брови шевелятся под облепившим лицо мокрым снегом. Руки у Адомелиса будто щелоком изъедены: опухшие, багровые, пальцы враспырку, винтовку удержать не может. Юзас стянул рукавицы, бросил племяннику.

— Чеши! — сказал в третий раз.

Долго стоял на месте, глядя, как они бредут по снегу, как исчезают в сосняке на берегу Кайрабале. А снег все падал с серого набрякшего неба. Мокрый и тяжелый. Вот и нет уже их, пропали из виду.

Наклонился Юзас к чахлой березке, отломал верхушку и, ступая обратно, аккуратно заметал этой березкой следы. Свои и тех двух. Чтобы не разглядел дурной глаз. Так и шел обратно по тайной тропе, пока не увидел, что можно и не замечать: снег покрывает все, утонули следы под ним. Отшвырнул березку, и та застряла в зарослях крушины комлем вниз да застыла, словно и выросла здесь. Теперь у Юзаса в руках остался только шест. Тыкая им в болото, он тащился в сторону своего дома.

И думал всю дорогу, что хорошо, но и не очень-то хорошо получилось. Племяннику праздничные сапоги отдал и рукавицы кинул, теплые, меховые, а о брате Адомасе ни словечком не обмолвился, так и не спросил, как живет брат, как держится. Словно и не было брата, только сын его, Адомелис, угодивший в беду. А брат-то ведь Иудой его окрестил. И с того злосчастного дня ногой на Кайрабале не ступил. Вот и надо было спросить у Адомелиса, может, немцы теперь на Адомаса насаждают за него, за Адомелиса, за то, что тот с винтовкой да с Васей. Может, из дому его угнали, а то и расстреляли уже брата Адомаса. Он бы спросил, Адомелис-то наверняка знает. Где видано, чтоб сын про отца не знал. И сказать надо было Адомелису, что Юзас не в обиде за Иуду. Мало ли что с языка сорвется, когда сердце вскипит. Нет, не сердится Юзас, и, когда Адомелис увидит отца, пускай скажет ему: не в обиде Юзас. Время-то теперь такое, не очень и разберешь, что ты, человек, сделал, как Иуда, а что — не как Иуда. Зачем зло таить? И еще надо было сказать Адомелису, что его, Юзаса, дверь всегда открыта для брата Адомаса, и не только для Адомаса, но и для него, Адомелиса, и для Васи. Всех он будет ждать, всем будет рад. Конечно, если Адомас решил не ходить, тогда уж ничего не попишешь. Тогда уж не надо. Стоит ли ходить, если злишься? Пускай уж лучше не ходит, но и зла на него не держит. Не время сейчас счета сводить...

Вот как надо было сказать Адомелису. А он не сказал.

Юзас покачал головой.

«Вот нехорошо, ей-богу, нехорошо получилось».

27

На рассвете Юзас добрался до своего двора. Потный, как и эти молодые в запороженных снегом тулупах. Поднял глаза, оглядел утонувшие в сугробах заросли и увидел в сумеречном свете: Стонкусов сынок крадется к его хутору. Не один, а еще с четверьмя. Видно, никуда теперь Стонкусов сынок один не ходит. Только эти четверо в синем с винтовками наперевес, а у Стонкусова сынка полушубок крыт сукном, короткий, чтоб выглядывало галифе над голенищами сапог, и не с винтовкой он, а с пистолетом, как и говорил Юзасу Урнежюс в Мальдинишке. Пистолетик держал он почему-то в левой руке, далеко выставив вперед. И подкрадывались все пятеро к хутору так, словно не они ищут тех,

кто им нужен, а их самих ищут те, которым нужны они, все пятеро. Чуть ли не до земли согнулись, от куста до куста перебегают. Добравшись до двора, рассыпались по сторонам. Четверо стоят вокруг хутора, на пахотный гон друг от друга, а Стонкусов сынок — во дворе, еще дальше выставив пистолетик. И налетел на стоящего Юзаса. Побледнел, крикнул:

— Куда тебя черт понес?

— Меня ли? — спросил Юзас. — В своем дворе стою.

Сказал это и тут же бросил взгляд за спину: занес ли уже снег его следы? Вдохнул с облегчением: нет больше следов. Все замел, застелил снег. Ничего нет. И Юзас повернулся к Стонкусову сынку.

— Так, говоришь, меня носит?

— Ишь ты! Не так еще у меня посмеешься, дядя! — закричал Стонкусов сынок, все еще бледный. — Посмеешься у меня!..

Подошел вплотную. Весь облеплен снегом. Волосы встопоршились под заснеженной шапкой. А глаза красные, воспаленные. И сказал Юзасу почти неслышно:

— Отдавай партизан!

— Значит, партизан на этот раз ищешь?

— Как с человеком с тобой говорю, дядя. По-хорошему.

— Хорошо, что по-хорошему. И я с тобой так. Откуда я тебе возьму партизан? Ты со мной по-хорошему, и я с тобой по-хорошему: чего нету, того нету. В глаза не видел партизан, да и как они выглядят, партизаны-то.

— Стало быть, не видел? И ничего не знаешь? — прищурил глаза.

— Раз уж нет, то и нет.

— Не все ты сказал, дядя. Теперь ты вот что мне скажи: если найду у тебя в доме партизан, тебе лучше будет?

— А тебе? — посмотрел прямо в глаза Стонкусову сынку Юзас.

— Ты шутики брось, дядя. Не маленький ребенок. Прямо говорю: если найду, уложу всех заодно с тобой на том самом месте, где найду. Понял?

Стонкусов сынок помолчал.

— Тебя рядом с ними, дядя. Чтоб вместе гнили!

И, поскольку Юзас не отзывался, Стонкусов сынок поманил этих четверых. Те подошли без промедления, обступили Юзаса. Встали плечом к плечу. И у всех в руках винтовки. Дулами на него, на Юзаса. Юзас почувствовал, как сгущается пот у него на лбу, под ушанкой. Хотел поднять руку да смахнуть, но опустил. Стоял, впившись глазами в сына Винцюне. И тот стоял, сверля глазами Юзаса. У Юзаса закапал пот из-под ушанки, побежал струйками по вискам. Стонкусов сынок махнул этим четверым:

— Обыскать! С головы до ног! Весь дом пере-трясти! Чтоб соломинки не оставили не проверенной!

Юзас услышал, как затрещали застежки его шубенки. Вчетвером сдирали ее с плеч Юзаса. Холодными загрубевшими руками шарили под пиджаком. Пот уже не просто капал с Юзаса, а градом катил

по всему телу. Только затылку было холодно. Так холодно, как никогда раньше.

— Были-таки, — сказал он Стонкусову сынку.

— Все же были?.. — оживился тот. — Кто такие, дядя? Откуда? Может, Адомелис, поганец этот? Где они сейчас?.. Спрятал, что ли?

— Незнакомые.

— А если по правде?

— Темно еще было. Перед рассветом. Шли, прошли, нету их.

— Куда прошли? Куда повернули? Ну?

Юзас снова посмотрел на сына Винцюне. Лицо искажено злобой, ничего не осталось от давнишней Винцюне. И его теперь власть. Стонкусова сына. Пистолетик в руке. И эти четверо с винтовками. Чтобы только в доме не стали шарить. Пять евреев — не иголка в стогу. Юзас сам не почувствовал, как спросил:

— Винтовку-то куда дел?

— Винтовку? — уставился тот, явно не ожидавший такого вопроса.

— Забрал, унес, без ничего меня оставил. Где винтовка-то?

Втянул Юзас воздух в грудь, добавил:

— С винтовкой-то я, может, и этих... партизан этих как-нибудь бы задержал. А голыми руками как? Шли и ушли, меня не спросились.

Говорил Юзас, а холодно стало не только затылку. Мороз подирал по всей спине. Не спина, а сугроб какой-то. Но рта закрыть уже не мог:

— Ни у меня, ни у тебя нету. Где моя винтовка-то?

И тут же увидел, как разгорается румянец на лице Стонкусова сына. Пятнами. То в одном месте, то в другом. Белое было лицо, а теперь огнем полыхнуло. Стонкусов сынок схватился за бока, расхохотался и долго еще хохотал, раскорячившись перед Юзасом. И вдруг замолчал, сказал совсем тихо:

— Иди-ка в избу, дядя.

— Застрелишь и тут, — не тронулся с места Юзас.

— Иди в избу, дядя, — уже совсем тихо повторил Стонкусов сынок.

Сам вошел вслед за Юзасом с пистолетиком в руке. И тут же глазами по сторонам. Все осмотрел. Задержал взгляд на переставленной печи.

— Вижу, лодыря не гонял, дядя?

— Бог велел всем трудиться.

— Хорошо, если бог. А вдруг сатана?

Обо всем догадался Стонкусов сынок. Поэтому и спешить перестал. Уселся на лавку, собрался было закурить, но так разволновался, так руки у него дрожали, что пальцы не могли удержать ни бумажку, ни табак. Никак не мог скрутить сигарку, все бумагу рвал, а табак просыпал на пол.

Юзас тоже обо всем догадался. Молча взял из рук Стонкусова сына курево, негнушными пальцами скатал сигарку, твердую, как «чертов палец», и вернул, не смочив слюной и не заклеив края бумажки.

— Кончай сам.

— Помолчи, дядя!

А сигарку взял. Провел бумажкой по нижней губе, зажал большими пальцами, раскурил и глупо затаился дымом.

— Помолчи, дядя,— повторил, выпустив изо рта темно-голубой клуб дыма.

Юзас снял полушубок, аккуратно повесил на жердь, плеснул воды в широкое корыто, наклонился над ним. Долго умывался, ничего не говоря, даже не повернувшись к Стонкусову сынку, словно того и духу тут не было. Вода, простоявшая ночь в сених, разругивала лицо, шею и грудь Юзаса. Стонкусов сынок и курить позабыл, уперся глазами в Юзаса.

— Черта еще придумал?

Юзас выпрямился, выставив руки, с которых капала вода, зажмурившись, долго не мог нашарить полотенце, а нашарив, прижал шероховатую холстину к глазам.

— Надо чистым быть,— сказал, отняв полотенце от глаз.— Когда прихлопнешь меня, кто обмоет?

Стонкусов сынок хотел вроде заорать на него, но тут дверь избы распахнулась и ввалился один из этих четверых. Долговязый, с изъеденным оспой лицом. Щелкнул каблуками промокших сапог.

— Ничего не обнаружено, господин лейтенант!

— Убирайся! — процедил сквозь зубы Стонкусов сынок.

— Есть убираться! — снова щелкнул сапогами верзила.

И выскочил в сени. Стонкусов сынок встал с лавки.

— Стань-ка к стене, дядя,— сказал.— Аккуратно стань. Лицом к стене, понял? И руки подними. Высоко подними. Выше головы. Ладонями в стену упрись, понял? И постой вот так. Пока не скажу, что уже не надо.

Юзас сделал так, как велел ему сын Винционе. Видел только стену перед собой. Собственными руками срубленную, с сухим мхом между бревнами. Слышал, как Стонкусов сынок вышел из избы и как закрыл дверь со стороны сеней, как кричал на этих четверых у того конца избы, перед хлевом, а потом в хлеву. Хлопнула дверь, орал уже не только Стонкусов сынок, но и эти четверо. Долго орали все. А когда замолкли, Юзас услышал: рыдают женщины. Так рыдают, что у Юзаса мороз по телу пробежал. Уже рассвело на дворе. Женщины рыдали, подвывая, а голоса Конеля не слышно было. Юзас не знал, сколько времени он стоит так — лицом к стене, с поднятыми выше головы руками. Показалось ему, что не в своей избе он стоит с поднятыми руками, как велел Стонкусов сынок, а видит сон. Точно видит сон. Вот откроет глаза и увидит все как было, как есть на самом деле...

— Повернись, дядя! — разбудил его голос Стонкусова сынка.

Сын Винционе держал в руках часы. Те же самые, работы поставщика царского двора Фабера, на шестнадцати камнях. Щелкнул золотой крышкой, открыл, снова щелкнул крышкой, опустил в боковой карман.

— Значит, вонючек кормишь, дядя? А?

Юзас посмотрел на сына Винционе. Знал, ничего не надо говорить и отвечать.

— Позволь переодеться в чистое,— сказал Юзас.

— Чего тут зудишь! — взревел Стонкусов сынок.— Еще издеваешься? Хотел с тобой как человек, а теперь я тебя... как собаку! Как соба-а-аку!.. Понял, старик? За такое дело... ляжешь рядом с вонючками, и ни бог, ни сам черт тебе не помогут! Переодеться еще тебе. Ляжешь, в чем стоишь!

— Мне бы только переодеться,— снова сказал Юзас.— Чтобы в чистом. Как люди к причастию идут.

— Люди, а не предатели!

— Тут прихлопнешь или во двор отведешь?

— Лошадь, лошадь запрягай! — завопил Стонкусов сынок, совсем уже задыхаясь.

Лошадь оказалась запряженной. Сунули ее между оглоблями саней эти четверо. Голда и дочки уже не плакали, только глядели как бы затаенными бельмом глазами, ничего не видя. И Конель был здесь. Огромный, черный, лохматый. Шли они к сани, но не дошли, остановились перед Юзасом и поклонились ему. Низко поклонились. В пояс. И только потом уже в сани. Ни один не сказал ни слова.

— А этот? — показал дулом винтовки на Юзаса рябой верзила.— С этим-то как?

— Сам управлюсь,— сказал Стонкусов сынок.— Убирайтесь!

— Есть убираться! — хотел прищелкнуть каблуками верзила, но только разбрызгал мокрый снег.

Уехали по гати, потемневшей от слякоти. И, когда сани пропали из виду за кустами, Стонкусов сынок поднял вверх пистолет и выстрелил, потом еще и еще раз.

— В избу, дядя!.. — сказал он тихо.— И сиди, как мышь под метлой. Увижу где, не выкрутишься.

А в избе Стонкусов сынок подошел к Юзасу вплотную, все еще с пистолетиком в левой руке. Смотрел не в глаза, а в вырез рубашки Юзаса, где кустилась густая седая шерсть. Долго глядел Стонкусов сынок. Словно выбирал место, куда бы выстрелить, и все не находил. И вдруг ни с того ни с сего рассмеялся.

— Понял я, почему матушка за тебя не вышла, дядя. Наконец-то понял.

И долго еще смеялся, сказав это, Стонкусов сынок. А потом засунул руку в вырез рубашки Юзаса, намотал на палец клочок седой шерсти и потянул на себя. С силой потянул. Клок остался на пальце Стонкусова сынка, а на груди Юзаса забелело пятно, медленно покрывающееся алыми каплями.

— Теперь запомнишь, дядя!

Шел к двери, но у порога остановился, повернулся к Юзасу.

— Даже часов не взял,— сказал, прищурившись.— Кормил, укрывал, прятал, а не взял! Где другого такого дурака сыщешь?! А теперь, знаешь, что я сделаю? Скажу Конелю, пока он жив еще, что ты нарочно часов не брал, для нас их стерег, сам про них нам донес. Иначе говоря, выдал Конеля!

Юзас отшатнулся к стене, так худо ему стало от этих слов.

— Ты не сделаешь этого,— побледнев, сказал он.

Стонкусов сынок рассмеялся в лицо Юзасу, ушел, больше не сказав ни слова. Ушел насовсем. Закрыв дверь со стороны сеней, но теперь уже не запер ее.

Бах-бах-ба-бах — услышал Юзас на дворе.

Это стрелял Стонкусов сынок. Шел по двору и стрелял из пистолетика.

Юзас словно во сне стоял посреди избы. Словно во сне взял из баночки в шкафчике щепоть пыльцы плауна, присыпал рану на груди. И словно во сне жил потом все следующие дни. Ходил, делал что-то, поглядывал на дышащие весной тучи, но все как сквозь мглу, сквозь туман, серый и густой. Трепал по загровку савраса, неведомо как объявившегося утром следующего дня во дворе в оглоблях да с обломками саней, но как бы не видел его, не чувствовал, как тот тычется в него мордой, клянчит, чтоб поговорили с ним. И с прочей скотиной так. Со всем теперь так. Снедала Юзаса мысль, что нехорошо, когда человек уходит, а еще хуже, когда, уходя, камень на сердце оставляет. И все пытался отгадать: неужто и впрямь сказал сын Винцюне Конелю, что грозился сказать? Неужто и впрямь представил в глазах Конеля предателем меня, Юзаса?

Словно в тумане видел он Конеля. Огромного, черного, с жаркими глазами. И Конельшу рядом с ним. Голду. А дочки Конеля все шли и шли в свете зари, закутавшись в белые саваны, закрывая от него лица. Идут гуськом от баньки в сторону избы. Вот они дошли до ульев, вот они среди ульев, а вот и сгнули, растаяли в полумраке, ни одна не дошла до избы. Каждый раз только до ульев да среди ульев, а потом уже их нет. Нет ни одной...

Юзас потер кулаками глаза: неужто схожу с ума?

Никак не мог взять в толк, почему солнце каждое утро всходит, будто не ведает, что вечером ему опять садиться? Глянь, и журавли уже вернулись на Кайрабале, и утки с гусями... Как ни в чем не бывало, словно Конеля с дочками не увезли на санях по гати. На его собственных санях. Вернулись птицы. Может, и яйца уже снесли, птенцов высиживать будут. И березки взлохматились зеленым прозрачным одеянием, и лини в болотных окнах шевелят черными спинами, и багульник пылит на краю болота, как в иные весны. А часы работы Фабера сейчас в кармане у сына Винцюне. Неужели Стонкусов сынок сказал-таки Конелю, что Юзас предал, выдал его? Сквернее и быть не может: стоять у могильной ямы и перед самой смертью узнать такое. Хорошо, если Конель поймет да не поверит, а вдруг нет? Сквернее и быть не может!

Вот так теперь жил Юзас.

А когда увидел однажды утром под окном своей избы брата Адомаса, снова крепко потер кулаками глаза,

— Ты ли?

— Прости меня, Юзас.

Юзас подошел, уселся на скамье под окном избы, усадил брата рядом.

— Ты, значит?.. — Юзасу все не верилось, что видит его, Адомаса. Видит опять. Живого. Настоящего. — Ты?

— Забудь про Иуду, Юзас. И про другое...

Юзас увидел, поблескивает слеза в глазах брата. И нижняя губа трясется. И щетина на щеках да подбородке дрожит.

— Плачешь? — спросил Адомаса, словно не видя, как оно есть на самом деле.

— Да и ты не очень-то сухой,— смахнул рукавом слезу Адомас.

И Юзас почувствовал, что впрямь в его собственных глазах что-то неладно. Поэтому смахнул и он слезу, как уже смахнул брат, а потом встал со скамьи, положил обе руки брату на плечи. Не помнил Юзас, чтоб когда-нибудь в жизни он так сделал, а сейчас вот взял да сделал, сам не зная почему. И брат Адомас встал со скамьи, и стояли они друг против друга. Рослые, плечистые, длинноносые. И на глазах у обоих поблескивали слезы. Поблескивали, но не падали. Ни у одного.

— Не плачь,— сказал Юзас.

— Тяжело жить, Юзас.

— А поплачешь, легче станет?

— Моего младшенького взяли.

— Юзукаса? Кто?

— Стонкус с полицаями. Сегодня спозаранку.

— За что? Совсем же тихо сидел Юзукас. Насколько знаю, он же ни при чем.

— За Адомелиса,— слеза выкатилась-таки из глаз Адомаса. — «Если не объявится в двадцать четыре часа, расстреляем этого как заложника!». Так и сказал Стонкус: как заложника.

Сейчас слезы одна за другой катились по щекам Адомаса. В жизни Юзас не видал, чтоб его брат плакал. Огляделся, словно испугавшись, что еще кто-то увидит, взял за плечи, затолкал брата в избу.

— Подожди, куда тащишь? — попятился Адомас. — Где же я им найду старшего-то... Где искать буду?..

Юзас усадил брата на лавку в конце стола, а сам повернулся к шкафчику, достал кувшинчик с молоком, еще теплым, сунул в руки брату.

— Хлебни! — сказал.

Адомас, остолбенев, глядел на него.

— Почему молоко суешь?

— Значит, худо тебе?

— Что... что худо?

— Раз не знаешь, где искать?

Адомас глядел на брата и не знал, что ответить.

— Знал бы, много бы сказал? — не отставал Юзас.

Адомас схватил кувшинчик, запрокинул, долго и жадно пил, потом вытер губы.

— Твоя правда,— сказал, не глядя на брата.

— Значит, лучше?

— Твоя правда,— снова сказал Адомас, низко склонив голову.

И тут же заерзал на лавке. Глаза опять наполнились слезами.

— Говори, да не заговаривайся! Что лучше? И что хуже? Если не старшенького, то младшенького, а если не младшенького, так ведь старшенького! Ума ты лишился! — закричал он на Юзаса.

— Не кричи,— негромко попросил Юзас.

— Старшенького отдать разве дешевле? А младшенького за старшенького? Ты их растил, ночей из-за них не спал? Знаешь, что такое ребенка отдать! — кричал Адомас все яростнее. — Приходи, послушай, как моя жена голосит, как весь дом рыдает! Приходи и тогда скажешь, лучше мне или хуже!..

— Не кричи,— снова попросил Юзас.

— Ребенок — это тебе не журавль на твоём распроклятом болоте, не пигалица у ржаного поля! Приходи, тогда узнаешь, как ребенка отдавать!..

Адомас побледнел, руки ходили ходуном, не удержали кувшинчик, уронили, и тот разбился вдребезги на полу.

— Не кричи,— еще раз попросил Юзас.

Был он, пожалуй, еще белее брата, но на глазах ни слезинки. И руки спокойны. Даже мизинец не задрожал у Юзаса. Взял брата за плечи, усадил на лавку и придержал, чтобы тот пришел в себя, только тогда сам уселся рядом. Оба долго молчали.

— Юзас... — промолвил Адомас.

— Сам думал.

— Вот и я говорю, Юзас. В чулане Стонкуса ты ведь держал, пропал бы он без тебя. Так вот, говорю, неужто от человека, в нем ничего не осталось? Если бы ты, Юзас, если бы ты в Мальдинишке?.. Сказал бы ему, чтоб он теперь с тобой... как ты с ним. Чтoб младшенького моего за это... Ты сходишь, Юзас, а?

— Сам думал,— повторил Юзас. — Как ты пришел, сказал, с тех пор и думаю.

— На коленях мы бы тебя благодарили, Юзас! — просиял Адомас.

— Не спеши.

У Юзаса заняло сердце. Как же может он показаться в Мальдинишке? После того, что ему сказал Стонкусов сынок? Адомас-то ведь не знает, что тот по своему почину оставил его, Юзаса, в живых. Должен был ухлопать на месте. Потому и стрелял, бабахал во дворе. Обманул этих четверых. А если не прихлопнуть, то доставить в Мальдинишке вместе с Конелями. Явно оставалось еще что-то от человека в сыне Винцюне. Но оставалось только для него, Юзаса. И только до тех пор, пока самому Стонкусову сынку ничего не грозит. А когда он пойдёт, когда покажется в Мальдинишке?..

— Знаю, Юзас. Зверь он и сатана, но тебя, может, послушается,— говорил, не переставая, Адомас. — Пускай и не отпустит сына, только бы не к стенке его. Не пулю в лоб. Пускай в тюрьму, если надо. В Германию, слышал я, на работы многих вывозят и его бы прихватили... Поработал бы мальчик,

силенок у него хватает. Если надо поработать в Германии, отчего не поработать? А потом бы и домой вернулся. Когда кончится все, он и дома. Мне чтоб только не в могилу Юзукаса, чтоб жена так не рыдала.

— Что кончится-то? — спросил Юзас.

— Всю жизнь война не бывает: накатила, глянь, и прошла. Надо только кости поберечь, пока идет. Помог же, за печкой держал, когда Стонкусу худо было, неужто возьмет и не послушается тебя, Юзас?

Юзас молчал. Взвешивал слова брата.

— Человек, если и гниет, насквозь не прогнивает, Юзас, все же от человека кой-чего остается. Поэтому и говорю и говорю тебе, Юзас...

— Помолчи,— почти неслышно попросил Юзас. — Помолчи, Адомас.

Шел Юзас по гати, а потом и по полям, приближаясь к Мальдинишке. Шел нога за ногу. Думалось ему, что идти-то не стоит, что не получится разговор со Стонкусовым сынком. Юзас знал: тот обязан был застрелить его, когда эти четверо во главе с рябым верзилой увезли Конелей. Обязан был застрелить, но не сделал этого — может, потому, что он сын Винцюне, а может, вспомнил, как за печкой у Юзаса сидел. Не как сын Стонкуса, а как сын Винцюне сидел. Сына Стонкуса, пожалуй, Юзас и не пригрел бы. Наверняка бы не пригрел. А теперь надо идти. Но как? Чтобы всем в Мальдинишке глаза мозолить? Скажем, этому рябому верзиле. Тот ведь уверен, что Стонкусов сынок прихлопнул тогда Юзаса на Кайрабале! Верзила навлечет беду на сына Винцюне за то, что тот не поступил с Юзасом так, как обязан был, когда сказал: «Сам управлюсь». Верзила слышал, и остальные трое тоже. Все четверо слышали. Сказать сказал, а не сделал. Жив и здоров Юзас. И пришел в Мальдинишке, будто и Конелей у него в доме не было и эти четверо не обнаружили их да не увезли на санях по гати.

Юзас замедлил шаг. Остановился под тополем у дороги. Терпко пахли смолистые молодые листочки тополя. И поля тоже пахли. Пашней и хрупким полевым хвощом на прохладной меже, бледной травкой на лугу, прелью прошлогодней полевицы. Юзас стоял, глубоко втягивая в легкие воздух, а в голове вертелась одна и та же мысль: не надо ходить к Стонкусову сынку, не будет с ним разговора, у самого Стонкусова сынка хлопот прибавится, а идти надо, никуда не денешься...

Снова зашагал Юзас. Все ближе и ближе к Мальдинишке.

Сына Винцюне нашел в красном кирпичном доме. Старый был этот дом. Насколько помнит Юзас, всегда он выглядел так же. При царе в нем хозяйничал пристав, при большевиках действовал ревком, потом волостные старшины сменяли друг друга, а сейчас... Все менялось, а дом стоял. Со стенами из

красного кирпича, добротный дом. Видно, много еще всяких властей перестойт. Увидев Юзаса, Стонкусов сынок просто оторопел:

— Черт, какого черта ты еще тут, покойник не погребенный? За пулей пришел?

Юзас никогда не был говорлив. Сызмальства слыл таким. В двух-трех словах изложил дело, спросил:

— Расстреляешь?

Стонкусов сынок побледнел. Посмотрел на Юзаса. Прямо в глаза. Губы у него посинели.

— Пускай сам Адомелис явится!

— Если явится, ты их обоих? Адомелиса и Юзукаса?

— Пускай явится, там видно будет.

— Адомелис сам по себе, Юзукас сам по себе. Не большевик он, Юзукас.

— А ты-то откуда знаешь?

— Головой ручаюсь.

— А где Адомелис, тоже головой ручаешься?

Юзас чувствовал, прошиб его пот, а по спине холод гуляет. Как тогда, перед зарей, когда вел он по болоту Адомелиса с Васей. Крепко сжал кулаки, глотнул застрявший в горле комок.

— Кровь Юзукаса на твою голову падет, дядя, — сказал Стонкусов сынок. — Раз пришел, то говори: где Адомелис?

Теперь Юзас почувствовал, что холодно не только спине. Окоченел весь от головы до ног. Глядел, не мигая, на Стонкусова сынка, а тот рассмеялся. Спросил не к месту:

— Кто за этим столом сидел, дядя?

— Сидел... — растерялся Юзас. — Волостной старшина здесь сидел.

— В Сибири старшина! — крикнул Стонкусов сынок.

— Как... в Сибири?

— Адомелис отправил, большевики! — снова закричал Стонкусов сынок.

Бледность пропала с его лица. Густой до синевы румянец залил не только щеки, но и шею.

Юзас долго молчал.

— Шаркюнас где? — спросил.

— Какой Шаркюнас?

— Тоже здесь сидел. После старшины. Где ты сейчас сидишь, — объяснил Юзас.

Стонкусов сынок вскочил со стула, провел ладонями по щекам.

— Где мои родители? — глянул он на Юзаса. — Не скажешь, часом, где сейчас мои родители? — негромко он спросил, снова бледнея.

— Мне не отвечаешь, так зачем меня спрашиваешь?

— Голодранцы проклятые!.. — крикнул Стонкусов сынок. — Гитлер по шапке им дал, литовцев спас!..

Юзас стоял перед Стонкусовым сынком, оцепенев, чувствуя только, как колотится сердце. Глухо колотится.

— А ты за них! За кровопийц!.. За пулей пришел? Хороших людей мы не трогаем, сам знаешь.

Бережём хороших людей. Отдай Адомелиса, большевика, отпущу этого, может, еще человеком будет. Отдай Адомелиса! — уже не закричал, взревел Стонкусов сынок, стукнув кулаком по столу. — Не отдашь, кровь Юзукаса на твою голову!..

Едва он так взревел, как скрипнула дверь за его спиной. Юзас не видел этой двери ни раньше, когда здесь сидел волостной старшина, ни сейчас. Даже не подозревал, что есть она в этой стене. А сейчас в эту дверь вошли двое. Верзила с изъеденным оспой лицом и другой, незнакомый Юзасу. Верзила вздрогнул, увидев Юзаса, прищурился и, положив руку на висящий у ремня пистолет, повернулся к Стонкусову сынку.

— Не прикончил, — услышал Юзас. — Промашка у меня вышла, оказывается, не прикончил...

Дрогнувшим голосом сказал это Стонкусов сынок. И так тихо, что Юзас едва разобрал слова.

— Взять! — снова сказал Стонкусов сынок, теперь уже громко.

И Юзас очутился в подвале под красным домом. Слышал, как захлопнулась дверь у него за спиной, заскрежетал железный засов, звякнули ключи и все затихло. Ни единого человека в подвале. Стены серые. От пыли серые и от паутины, а еще больше от тусклого освещения. Чуть-чуть света давало продолговатое оконце, прорубленное под самым потолком подвала и забранное железными прутьями толщиной с добрый палец. Юзас вспомнил: много раз проходил он мимо этого дома — и малышом еще, и подростком — к первому причастию и на обедню. Видел дом из красного кирпича, а вот оконца не разглядел. Когда человек приезжает из деревни в городок, он много видит. Побольше тех, которые все время живут в городке. Много, да не все. А раз не видел, то и не задумывался, что может быть за этим оконцем и что ему когда-нибудь придется за этим оконцем усестись на перевернутую старую кадку. Юзас всегда проходил мимо него. В Мальдинишке было на что посмотреть. Белоснежный костел, взбравшийся на высокий холм, видный отовсюду на десять, а то и на более верст. Вокруг костела липы цветущие и могилы настоятелей под этими липами вдоль тяжелой каменной ограды. Опять же огромная стена деревянного дома, испещренная объявлениями о предстоящих вечеринках для молодежи и списками хозяйств, которые пускают с молотка за долги казне... Было на что поглядеть в Мальдинишке. Кому придет в голову рассматривать запыленное оконце, забранное железными прутьями с добрый палец толщиной?

Смеркалось в Мальдинишке, смеркалось и в подвале красного кирпичного дома. Юзас сидел, облокотясь на колени, и думал: как это он ходил, не замечая, мимо этого оконца, прорубленного в толстой стене у самой земли. Десятки, сотни раз шел, и все мимо да мимо. А потом вспомнил, что оставил на Кайрабале утром пастись на лугу савраса, привязав не очень-то длинной цепью. Наверняка дочерна сощипал траву саврас, насколько цепь позволяла, и стоит теперь, свесив голову меж передними ногами.

Сколько ему еще стоять так? Придет ли кто, догадается ли перевести на другое место? И коров не выпустил размять ноги... И пчелы проснутся завтра утром в улье и улетят без него, без хозяина. У Юзаса сжалось сердце: нехорошо, когда так. Если не знаешь, когда вернешься и вернешься ли вообще. Совсем нехорошо.

Хоть бы Юзукаса вырвал из лап Стонкусова сына. Может, и не расстреляли бы его. А вот не нашел нужных слов для Стонкусова сына, не вырвал. Теперь Юзукаса поставят к яме. Может, и поставили уже. Не поставили бы, получи они на его место Адомелиса. Или того, или другого... А то и обоих. Всякое может быть. Приведешь Стонкусову сынку Адомелиса, а тот и того, и другого. Обоих к яме. Которого же легче отдал бы брат Адомас? Оба живы, а одного надо ставить к стенке. Надо. Когда война, головы у людей с плеч. Не может война без этого. Не зря цвел ивняк посреди зимы. Накликал кровь. Море крови... Так которого же теперь? Которого?

Конеля-то уже нету, потер щеки ладонями Юзас, и Голды. И дочек. Всех трех его дочек. Кровь кличет, говорил дедушка Йокубас, увидев, как расцвел когда-то посреди зимы ивняк в лесу. И накликал, да такую ли? Смешно вспоминать, когда посмотришь, какую накликал сейчас! Не припомнят такой войны деды!

А саврас-то, наверно, все до единой травинки выщипал. Очень короткая цепь досталась ему на этот раз. На лугу теперь черный круг. Никто не вернулся, кто угодил в лапы к Стонкусову сынку, почему же ему другого ждать? Сам виноват. Надо ли было лезть прямо в пасть к волку? Но ведь не мог не лезть, когда Адомас так...

Почернело оконце под потолком подвала. В Мальдинишке пришла ночь. Кругом тишина. Спит Мальдинишке.

И вдруг загремела дверь. Ослепил свет, ударил в глаза Юзасу.

— Вставай, старикан! — крикнул из темноты незнакомый голос. — Пошел! Пошел!..

Сноп света побежал к двери, показывая дорогу. А там уже ждали двое. С каждого боку по одному. Те самые, что были в комнате Стонкусова сына, а может, и другие. Разве отличишь?

— Не оглядывайся, сукин сын! Руки за спину! На затылок руки! Пошел!..

Юзас не оглядывался. Шел, держа руки на затылке, как было велено. «Уже и меня,— думал. — И меня. И меня. Настал мой час». И странно было, что нисколько не страшно. Сколько раз Юзас думал о последнем своем часе, сколько разговоров слышался о том, как кто умер да какие прощальные слова говорил, от этих разговоров иногда мурашки по спине бегали. А теперь ничего. Вроде и не на расстрел гонят его по улице Мальдинишке, а просто так, на прогулку повели. Идет и смотрит, какая тихая улочка в Мальдинишке, с обеих сторон деревянные дома выстроились в предрассветной серости, двери и окна закрыты, закрыты, закрыты... И ябло-

ни за заборами покойны, и вишни да сливы не шевельнут ни листочком. И впрямь все как во сне. Деревья-то ведь шелестят, когда они наяву. Даже в самую тихую ночь шелестят деревья. И окна домов глядят, когда наяву. Хоть одно, хоть самое крохотное оконце, но глядит. Задвинь ворота, закрой все ставни, запри двери, а дом глядит. Все равно глядит. Когда наяву...

— Поживей ты, собака большевистская, еврейский прихвостень!

Юзас поднял голову. Тихой улочки с неживыми домами уже не было. В предрассветной серости темнели поля, кое-где у дороги маячили кусты. За ними плавал белесый туман.

— Пошел, пошел!.. Стать! Ни с места!..

Остановился Юзас и увидел: вокруг уже не поля, а огромные деревья. И полным-полно камней под деревьями. Высоких и продолговатых, стоящих прямо, и плоских, лежащих на земле, и круглых. «Так это же еврейское кладбище!» — мелькнуло в голове Юзаса. Точно, еврейское. Не раз забредал сюда еще ребенком, а потом и позднее. И позднее тоже. Манили взор огромные звезды, высеченные на камнях, каких не высекали на католических кладбищах, манили надписи на камнях, которые тоже можно было увидеть только здесь, под этими вековыми деревьями. Значит, и впрямь он снова стоит среди камней с огромными звездами. На еврейском кладбище...

И тут же Юзас увидел, что он уже не один здесь. Много людей вокруг в полумраке. Больше, пожалуй, чем камней со звездами. И стояли они тихие такие, что Юзас подумал: может, и это не по правде, может, и это ему снится? Опять снится! Такими тихими люди могут только во сне быть. Нигде больше. Некоторые из них проходили мимо Юзаса. Так близко, что задевали его. А кто-то даже не прошел мимо, остановился рядом. Юзас вздрогнул от такой близости и обернулся. Рядом стояла женщина в темном платке. Не одна, а с двумя ребятами. Те прильнули к ее ногам, как крохотные тени, а женщина держала их за руки. Крепко держала. Юзас не вытерпел:

— Тебе-то чего тут с ребятами?

Женщина не ответила, только двинулась мимо Юзаса. И Юзас зашагал вслед за ней. В тишину, под деревья, в толпу среди камней. Шла женщина с ребятами. И Юзас шел. И никто не кричал на них: «Пошел, пошел!.. Стать! Ни с места!» И вся толпа двинулась сейчас. Целая река людей поплыла. А потом все остановились. И тогда Юзас увидел, что они уже не на кладбище, не среди камней со звездами, а уже за ним, перед неглубокой ложбинкой, где темнели два длинных вала из свежесывороченной земли. И за этими валами, на другом краю ложбинки, Юзас тоже разглядел людей. Их было меньше, чем на этой стороне, но они тоже были настоящие. Не тени, а люди, только пришедшие не с Юзасом, а с другой стороны. И женщина рядом была настоящей, и оба ребенка у ее ног, державшие мать за руки. Юзас видел, все настоящее.

— Маменька, маменька! — потянул мать за руку один из детей, поменьше. — Маменька, это теперь папу расстреляют?

— Молчи! — вздрогнула женщина, зажала рукой ребенку рот.

Многие обернулись на голос ребенка. Мужчины и женщины. Уже успело рассвети, и Юзас видел: глядят люди на ребенка. Молча глядят. Женщина склонилась к малышу, погладила головку, попросила:

— Ради бога святого, Йонукас... Помолчи, Йонукас!..

Когда она попросила, вокруг стало еще тише. Так тихо, что слышно было, как дымится земля, свежесвывороченная в ложбинке за кладбищем. И Юзас опять понял, что так тихо может быть только во сне. И такая широкая и длинная яма с двумя свежими насыпями — только во сне. Наяву никто не роет такие ямы на кладбищах. И не бывает так тихо, как сейчас, когда звенит в ушах от тишины и в то же время как бы слышится что-то, и слышится не рядом с тобой, а будто за далеким лесом или даже за облаками: вроде зовут тебя, или тянут священные псалмы, или просто ветерок разносит пух одуванчиков. Вот так молчали сейчас люди и женщина с детьми, прильнувшими к ее ногам. И все смотрели на другую сторону ложбинки, где дрогнули люди и стали спускаться вниз, к свежей насыпи. Все ближе, ближе. И Юзас увидел: не все идут вместе. Впереди человек двадцать, от силы двадцать пять. Идут, склонив головы, держа руки на затылках. Как шел сам Юзас по улочке городка только что. А за ними идут другие. Этих-то гораздо больше. В два или в три раза больше. И держат в руках винтовки. Когда спустились и первые и вторые к яме, один из сыновей женщины, все тот же малыш Йонукас, заголосил:

— Маменька, я папу... я папу вижу!..

Вывался из рук женщины, побежал между надгробьями, закричал:

— Папа, папа, па-а-па!..

И, подбежав к тем, первым, что без винтовок, бросился к одному из них, крепко обхватил ручонками ногу.

— И маменька здесь, и Петрюкас... Ты не бойся, папа, не бойся!..

Юзас увидел: это же Шаркюнас там, с ребенком у ног. Кузнец из Мальдинишке. Исхудавший, с заросшим щетиной лицом. Не похожий на того, что когда-то скалил снежной белизны зубы, кудрявый кузнец, дубасивший молотом так, что вся округа гремела. Даже щетина на его лице седая. Плечи опущены. И все же это настоящий Шаркюнас. Не кто другой.

И, пока Юзас глядел на него, у женщины из рук вырвался и второй сынишка. С воплем побежал туда же, обхватил другую ногу отца. Теперь они стояли на краю длинной ямы уже втроем. Старший был страшным голосом, а малыш кричал:

— Ты не бойся, папа, не бойся! Мы вместе, вместе!..

— Детей, детей спасай! — закричали люди вокруг женщины.

— Ты же мать, спасай! Расстреляют у тебя всех троих...

Теперь и женщина бегом пустилась в ложбину. К своим, к этим троем.

И тут ударили винтовки. Залп, другой. Потом забабахали вразнобой. Кузнец Шаркюнас согнулся вдвое, рухнул в яму, увлекая вместе с собой детей. А женщина схватилась за грудь, откинулась и упала навзничь. Не в яму, как другие, а на краешек ее. Вопили люди, стоявшие рядом с Юзасом, и те, за ложбинкой кладбища, даже в яме кричали уже убитые. И оба мальчика кричали в яме. Юзас сам не почувствовал, как оказался возле мужчин с винтовками, схватил одного из них за грудки, встряхнул и закричал:

— Детей, детей, детей?..

И только успел увидеть, как вынырнувший неведомо откуда Стонкусов сынок замахнулся рукоятью пистолета на него, на Юзаса.

А потом уже ничего не видел Юзас. И не слышал ничего. Сон оборвался.

30

Проснулся Юзас в своей избе. В своей постели. Как просыпался каждое утро. Но сегодня позднее. Так поздно, что солнце успело высоко подняться в небе и заглядывает сейчас в окна избы. Бросает косые тени, значит, близится полдень. Юзас даже удивился. Каждое утро просыпался до рассвета, как же это сегодня так?.. А еще больше удивился, увидев в своей избе брата Адомаса. Адомас сидел за столом. Просто так сидел, положив руки на столешницу. Издавна знакомые Юзасу руки, длинные, с выпирающими костяшками пальцев и торчащими мышцелками запястьев. Знал Юзас: когда работаешь в поте лица, то руки такими становятся. Нечего и разглядывать-то. Но почему он сейчас расселся здесь, его брат Адомас? Сидит за столом и ничего не делает. Да еще здесь сидит, не у себя дома!

— Заспался я, — сказал Юзас.

Адомас не обернулся. Словно и не расслышал или притворился, что не слышит. Даже руками не пошевелил, длинными, занятыми чуть ли не весь стол.

— Заспался, — повторил Юзас.

Но Адомас и ухом не повел.

Юзас решил встать с постели. Приподнялся было и убедился, что не может оторвать головы от подушки. Перед глазами побежали зеленые и красные круги, голова загремела, словно по ней молотилка проехала, а потом заныла от обруча, стянувшего виски. Юзас поднял руку, нащупал, что голова и впрямь стянута намертво, хоть и не железными обручами, какими стягивают деревянный вал молотилки, а белыми повязками. Только нос да губы торчат из-под холстины.

— Неужто мне все еще снится? — удивился Юзас. — Адомас, неужто мне все еще снится?

Наконец-то Адомас расслышал. Подошел, наклонился над братом.

— Лежать тебе надо, Юзас. И не шевелиться.

— Почему не шевелиться?

Адомас посмотрел на него, наклонился еще ниже.

— Опять не слышу я, Юзас. Губы у тебя шевелятся, а голоса нету.

— Да не трогай ты его! — сказал женский голос. — Сказано было: главное — покой!

Не столько увидел, сколько почувствовал Юзас, что от его изголовья отошла невестка, жена брата Адомаса. Остановилась перед кроватью. Сейчас Юзас ее видел уже.

— Тебя бы так хрястнуть, много бы кричал? — выговаривала она мужу.

Оттолкнула Адомаса, подбила у Юзаса одеяло с одной стороны, с другой. Может, впервые Юзас видел свою невестку так близко. Крепко сдала уже эта Малайшите из Моцюнай. В девичестве Малайшите, а сейчас просто жена Адомаса. Виски посидели, глаза запали, вокруг них гусиные лапки.

— За Юзукаса спасибо, — сказала она.

— Вот спасибо так спасибо, Юзас! — тут же отозвался и Адомас.

— Не расстреляли его, Юзас. В Германию погрузили, — благодарила невестка. — Поезд туда шел, вот и погрузили! Бог даст, выживет, вернется. Правда, бог даст... Спасибо, Юзас!

— А чего ему не выжить? — опять откликнулся Адомас. — Раз уж Юзас помог, так чего? Раз уж погрузили, так почему бы не выжить? Раз не расстреляли, то и вернется! — торопился сказать.

— Не кричи над ухом! — одернула Адомаса жена. — Не знаешь, что сейчас помалкивать надо? Юзасу помалкивать и нам с Юзасом. Сказано было или нет?

Брат Адомас зажал себе рот ладонью, чтобы только не заговорить опять. Другой рукой придвинул скамеечку поближе к кровати. Уселся на нее и уставился на Юзаса. Видно, не первый раз выговаривала Адомасу жена. И не второй. Привык к руготне Адомас.

— И тебе бы помолчать, Юзас, — сказала невестка, хотя и рта Юзас не раскрыл. — Больше всего тебе. Лежи себе да полеживай. Полеживай. Доктор так и сказал: лежать да полеживать. А за домом присмотрим, скотину покормим, ты не думай. Когда человека так хрястнули, надо лежать тихо.

— Какой еще доктор? — пошевелил губами Юзас.

— Четыре дня ты был неживой! — отозвался Адомас, видно, опять не расслышав Юзаса. — Четыре!..

А на глазах слезы. Стиснул пальцами краешек одеяла, подержал, отпустил.

— Опять ты! — крикнула невестка.

— Да разве я чего говорю?.. — затряслись губы у Адомаса. — Я же ничего... Только чтобы знал. Юзас чтобы знал... Ни я не верил, ни ты сама не верила, что очухается, а теперь кричишь на меня!..

— Не тормози больного, — уже тише сказала невестка, сама едва не плача. — Покой ему нужен. Было сказано, или забыл?

Брат Адомас ничего больше не сказал, встал со скамеечки, подошел к окну и отвернулся. И Юзас увидел, что одно плечо брата гораздо ниже другого. Левое плечо. Никогда он этого не замечал, только теперь разглядел. А может, это солнце так падает? Когда солнце бросает косые лучи, все иначе видишь. Иначе. Может, и не дрожат у брата плечи, как это кажется Юзасу. Отчего им дрожать-то, не зима сейчас, не мороз. Да, это косые лучи из окна виноваты. Юзас зажмурился. Зарябило в глазах. От солнца, от вида брата, стоящего у окна с опущенным левым плечом, и от суеты невестки возле его кровати.

— Пошел бы ты домой, — услышал голос невестки Юзас. — Обиделся, видите ли, спиной повернулся! Нету здесь дела для двоих.

Юзас попытался открыть глаза. Хотел проверить, носит ли еще Адомас те часы, которые купил тогда, никому не сказав ни слова. В их молодости, когда только что похоронили отца. Носит ли? Заныло сердце от жалости к брату. Стоит там, у окна, опустив левое плечо. Словно никого больше нет в избе, кроме него. И жена пилит его... Но открыть глаза оказалось не под силу. Веки стали свинцовые, не поднять.

И не только с глазами это. Руки и ноги — будто каменные. Пальцем не шевельнуть. И грудь так сдавлена, словно положили поверх нее доску да на эту доску уселись четверо, а то и шестеро мужиков. Юзасу почудилось, что он погружается куда-то вглубь под этой тяжестью, а над ним смыкается туман, густой, как вода болотных окон летом, когда линии высывают головы и хватают ртами воздух.

— Скоро поправишься, Юзас, — доносился до него голос невестки откуда-то издалека, может, даже с того берега Кайрабале. — Денек-другой, и уже по дому будешь ходить. Здоров, как огурчик будешь, Юзас, как будто ничего и не было, это уж как пить дать!..

А Юзас погружался все глубже. Слышал все это, но погружался. Густой туман все плотнее смыкался над ним. Вот-вот сомкнется окончательно, и Юзас ничего не будет видеть и слышать.

— Денек, говорю, другой, не больше... — слышал он голос невестки. Еще слышал.

Неважной пророчицей оказалась жена брата. Не денек-другой прошел, а солнце повернуло к осени, когда Юзас наконец-то поднялся с кровати. И не сам, не своими силами, а хватаясь за мебель да поддерживаемый с обеих сторон братом Адомасом и его женой. И во дворе долго ждал, чтобы земля перестала вращаться и можно было сделать первый шаг. Словно не из дому его вывели, а из болотного окна выудили, задохнувшегося, почти неживого. Надивиться не мог, что от одного-единственного удара по голове может быть такое. Совершенно другим человеком стал,

И его дом был как бы другой, не тот, что оставил, уходя в Мальдинишке. Все вроде бы на месте, соломинки не пропало, а не тот. Дом, которого касалась чужая рука. Вот и соты из ульев выбирали, мед из сотов выкачивали... Выкачивали, да не выкачали. Крупицы воска всплывают в горшках наверх, муравьев напозла тьма-тьмушая, пьяные муравьи и мертвые. Муравьи в меду? В жизни такого не видал Юзас в своем доме. И у савраса бока впали. Поднял голову, посмотрел на Юзаса и... не заржал, не поздоровался, как положено, со своим хозяином. Чужой, незнакомый уже. И буренка тоже. Глядела на Юзаса подольше, чем саврас, вроде даже слезу осеннее солнце выдавило у нее из глаз. Одну-единственную слезу... Нехорошо, когда слишком долго задерживаешься, где не положено. Вот и солома на коньке крыши взлохмачена ветрами и дождем, и вишни вовремя никто не собрал — торчат на ветках общипанные скворцами черные косточки, даже наземь не падают. Неужто брат Адомас не мог жердью крышу прижать? Почему не могла невестка или Уршуле вишни собрать? Хоть бы варенья наготовили. Для себя, не для него, Юзаса. Знал из их рассказов, что все здесь перебивали, меняясь, днем и ночью за Юзасом смотрели. Смотреть смотрели, а хутор проглядели...

И показалось Юзасу, что и сам он сейчас здесь точно не свой, не хозяин, а сбоку припеку: шел мимо Кайрабале, завернул по гати на хутор, стоит, смотрит, постоит еще немножко и пойдет дальше. Своей дорогой пойдет. А какая у него дорога? Куда он шел до сих пор и куда теперь пойдет?..

Даже головой встряхнул, отгоняя прочь негодные мысли. Никуда он больше не пойдет, пришел уже, вернулся, дома он. Здесь его дом, другого нету. Не было никогда и не будет другого дома.

— Иди, Адомас,— сказал он брату. — Столько времени на меня ухлопал, никак свое хозяйство запустил, без сыновей остался, тебе тоже домой надо.

— В своем ли ты уме? — уставился на него Адомас. — Рук и ног поднять не можешь. Свалишься еще, а кто тебя поднимет, кто за тобой присмотрит? И чего мне домой? Осень, все убрано, чего же?

— Не теряй времени.

Адомас рассмеялся, настолько несуразными показались ему слова Юзаса.

— Ты же моего Адомелиса спас,— сказал. — Юзаса у костлявой из когтей вырвал, а я теперь тебя одного, на болоте-то одного?!

— Не впервой мне одному,— отмахнулся Юзас. — И не первый же год живу. Много времени на меня ухлопал, хватит.

Они стояли во дворе. Адомас смотрел на Юзаса. Жалко ему было брата, но и зло разбирало. Выгоняет! Будто собаку ненужную. А он-то и поблагодарить брата не успел. Благодарил, правда, но как следует не успел. Много всего обговорили, обсудили, а когда надо было сказать об одном сыне да о другом, лицо обдавало жаром и пропадал голос. Так и шел день за днем. А сейчас выгоняет его, поблагодарить

не дает по-человечески. Нет хуже, когда не поблагодаришь!

— Побуду,— сказал Адомас. — Выгоняй ты меня или не выгоняй. Пока не поправишься.

— Напоправлялся уже,— ответил Юзас. — Столько времени на меня ухлопал, не мешкай больше. Правда, хватит.

И отвернулся. Смотрел на ивняк да ольшаники по берегам речушки, на покрасневшие березки за родником. Всю Кайрабале обвел взглядом. И обернулся, только услышав шаги брата. Адомас уходил по гати. Удалялась, мелькая среди зарослей крушины, спина брата. И склоненная голова. Низко склоненная, как у глубоко оскорбленного человека.

А когда спина брата исчезла из виду, Юзас зашагал к кресту среди вишенника. Сам не понимал, зачем идет, но пошел. Остановился у того места, где покоилась Карусе и эти двое, русский и германец, которые неведомо откуда появились на Кайрабале и улеглись здесь навеки.

— Лежишь? — спросил у Карусе. — Все лежишь?

Громко спросил, но та не ответила. И Юзас уразумел, что с мертвыми лучше не заговаривать. Знал это и раньше, но как следует уразумел только сейчас. Если умер кто, говори с ним, не говори, он молчит. И будет молчать. Со многими встречаешься при жизни. Поговоришь, посмеешься, даже пива кружечку опрокинешь, песню споешь. А улегся человек под крестом... Лежит и молчит. Молчит. А если и отзовется кто, то не из могилы, а только во сне. Приходит иногда и заговаривает с тобой. Или бродит повсюду, а то сидит. Будто и не умирал. Едет на телеге, сено косит. Совсем как живой. Как настоящий, не умерший. И почему-то умершего человека во сне никогда не увидишь в могиле, даже в гробу, когда его отпевают. Мертвые во сне ходят по земле, сидят на телегах, рукой тебе машут. Совсем как настоящие. Господь, может, для того и сон дал человеку, чтоб он увидел, как настоящих, тех, кого уже нету, а повидать их требуется. Матушку, скажем, или отца, а то и дедушку Йокубаса. Где же еще увидишь их, как не во сне? И не только увидишь, но и руку поцеловать сможешь, поблагодарить за то, что они добры к тебе, и сказать, что ты-то не очень добр к ним был, попросить прощения за свою недоброту. У мертвых надо просить прощения. Ведь, пока живы они, не просишь. Все не соберешься. Зато когда умирают они, тогда уж надо. Скажем, в ночь поминовения усопших, когда стоишь, затеплив свечу, у могильного креста и когда цветы на могилу приносишь. Вот тогда следует вспомнить, что виноват перед ними. Кто бы ни умер, перед каждым ты виноват...

— Все лежишь? — снова спросил Юзас у Карусе, забыв, что не следует этого делать, так тихо спросил, что сам не расслышал своего голоса.

А Карусе опять ни слова.

Девка она была, конечно, непутевая. Кто не ленился, тот с ней и водился. С каждым шлялась. Как же такую в дом? За один стол? Опять же Винцюне. Столько лет прошло, поседел Юзас, а она перед гла-

зами. Не вырвешь из сердца, и все тут. Так как же с этой, когда в сердце другая? Чепуха это.

Но, может, и не стоило с Карусе так поступать, как он тогда, Юзас? Если б он иначе, может, и она иначе. Прошла бы мимо этого болотного окна. Собира́ла бы по сей день клюкву. Стояла ведь тогда у ворот Юзаса... и еще как стояла! У ног корзина, сплетенная из белых сосновых корней, полная красной клюквы... Не совсем красной, правда, а наполовинку. Клюква только после морозов наливается чистым румянцем, а осенью она лишь наполовину: один бок красный, другой белый. Пестрой была клюква в корзине Карусе. Да и сама Карусе — будто клюквина. Щеки горят, а лоб белый. Может, и правда не стоило так с ней поступать тогда. Шла бы она, да и прошла мимо болотного окна...

Юзас встряхнул головой и увидел: скоро вечер. Над Кайрабале поднимается туман. Даже крест посерел от него, верхушка не видна почти. Словно в облачко нырнула крестовина с распятым Христом. Нет ее. И колодезный журавель во дворе исчез, и кусты за колодезцем. Только вишни еще видны. Вот эти. У креста. Со склеванными ягодами. С черными косточками на тонких черенках.

Долго стоял у креста Юзас.

31

Юзас пил горькую полынь. Настоял и чабреца. Попробовал вахту и зверобой, даже листья подорожника заварил. Ничто не помогало. Никак травы крепость потеряли, может, продуло ветром на чердаке, где развесил их Юзас для просушки. Ломота в костях не проходила. Юзас вспомнил, что есть у него еще малина. Не варенье малиновое, а стебли, высушенные вместе с ягодами. Попил малины. И пропотел, как следует. И опять не помогло. Лучше всего бы пчелиным молочком полечиться. Оно бы выручило, от него суставы пружинистее, мышцы тверже. А где возьмешь-то? Молочко должно быть свежее, прямехонько с душистых лугов, а где его сейчас достать? Осень. Туман лежит на Кайрабале. Не улучил времени летом, а сейчас пиши пропало.

Каждое утро, наклонясь с бритвой в руках перед осколком зеркала, Юзас видел: постарел еще на одну ночь. Крепко постарел. Раньше и за год не старел так. Бритва путешествовала по лицу, как по скованной морозом пашне, где задевала волос, где не задевала, а щеки приходилось оттопыривать, засунув в рот палец, чтобы соскоблить седую щетину.

Каждое утро теперь так.

Но и это еще не все. Велика важность — седой волос! Каждый год да каждая ночь человека в седину вгоняют. Так бывало всегда. И со всеми, не с ним одним. Беда, что у Юзаса кости ломит да в середине засело не поймешь что. Не то нытье, не то колотье. Засело, и не выкуришь его. Сколько времени уже мучает. Считай, с возвращения из Мальдинишке. Держит в клещах, вдохнуть как следует не дает, грудь будто жерновом давит. У Юзаса все теперь шиворот-

навыворот. Смотрит на Кайрабале, а перед глазами сплошная серость. Серость да серость. И вещи перестали слушаться Юзаса. Брал у двери за дужку ведро, а оно отодвинулось в сторону, прямо из-под руки убежало. Потянулся второй раз — то же самое. Постоял Юзас, посмотрел на ведро. Ушел с пустыми руками в хлев. Шел в хлев, а оказался за избой. Как в тумане все, как за густой пеленой. Словно все еще не может проснуться после того раннего утра на еврейском кладбище в Мальдинишке. Словно все еще сны видит.

И уже совсем как во сне увидел однажды ночью своего племянника Адомелиса. Была зима, только Юзас не знал которая. Адомелис стоял перед лавкой в длинных сапогах, повесив на ремень винтовку прикладом вверх. А за Адомелисом увидел и Васю. Сразу узнал его, хотя тот выглядел по-другому, чем тогда, когда оба они впервые... В сухой одежде и без поясок. А за ними в избе стояли еще мужчины. С оружием. Разговаривали между собой, лампы сами засветили под балкой, словно не они здесь гости, а он, Юзас.

— Здорово, дядя Юзас, здорово! — сказал Адомелис.

— Садись, — пригласил Юзас, веря и опять не веря, что это Адомелис.

— Как поживаешь, дядя?

— Поживаю, — приподнялся на кровати Юзас. — Откуда взялся-то?

Адомелис рассмеялся.

— Так ведь дверь у тебя не заперта, дядя. Шел и зашел.

— А надо ее запирать?

Адомелис опять рассмеялся.

— Мой дядя всегда так, — сказал весело. — Всем доверяет, никого не боится. Золотой человек!

Дружно расхохотались мужчины, и в этом хохоте Юзас расслышал и женский смех. Долго смотрел в ту сторону.

— Не Аделе, часом?

— Говорила, что узнает! — сказала Аделе Адомелису.

Весело сказала. И тут же к Юзасу. Усадила на лавку, сама пристроилась рядом.

— Разрешешь побыть с тобой, дядя?

— Садись, — сказал Юзас.

— Так ведь сижу! — рассмеялась девушка.

— Раз сидишь, зачем спрашиваешь?

Аделе притихла, Адомелис подошел ближе.

— Не с того конца начинаешь, — сказал он Аделе. — У нас раненые есть, дядя Юзас. Ты уж не сердись, привели их, не спросясь заранее. Нужда прижала. Не приютишь ли? Немного их, всего двое. И ненадолго. Нам бы только самолета дожидаться. Переправим на Большую землю. Правда, ненадолго.

Юзас молчал. Адомелис отошел в сторону, и Юзас увидел двух молоденьких пареньков. У одного обмотана голова, как тогда у Васи, только чистой повязкой, у второго — рука повыше локтя. Оба белые как бумага. Один держался на своих ногах, а другой при-

валился к дверному косяку. И оба улыбались Юзасу, хоть и не говорили ни слова.

— Что скажешь, дядя? — снова спросил Адомелис.

Юзас словно проснулся. Повертел головой.

— А Стонкусов сынок? — спросил у Адомелиса. — Знает он мой дом как свои пять пальцев, все углы обшарил. Найдёт со своими полицаями. Что тогда?

— Стонкус? Стонкуса уже нет, дядя. Разве не слышал? Давно нету.

Юзас посмотрел на племянника.

— Ухлопал кто?

— Еще нет, дядя. Жив и здоров. Повышение получил Стонкус. За свои делишки кровавые. В уездном центре он сейчас, в Пансвежисе. Неужто и впрямь не слышал, дядя?

Юзас снова помолчал.

— В чулан ведем, — сказал только.

— Золотой ты человек! — взволнованно воскликнул Адомелис. — Мы же ненадолго. Да и всю тяжесть на тебя одного не навалим, Аделе с ранеными останется. Будет их выхаживать, обстирывать, еще и тебе по хозяйству поможет. Мы и лекарства оставим, дядя.

— Много говоришь, — сказал Юзас.

— Я только чтоб ты не подумал чего, дядя.

— Сам посвечу, — поднялся Юзас с лавки.

Зажег фонарь и шагнул впереди всех, показывал дорогу. У порога чулана остановился, поднял повыше фонарь и держал, пока Аделе и мужчины не устроили тех двоих удобно. Потом зашагал обратно, опять впереди всех. Во дворе погасил фонарь и долго слушал; как мужчины, попрощавшись, уходят вдаль. То снег скрипнет у них под ногами, то захрустит сухой ледок, то зачавкает моховина, а они уходят все дальше. И Адомелис с ними. И шаги все тише. Уже и не слышны шаги.

— Они вернутся, — сказала в темноте Аделе.

Юзас вздрогнул. Забыл, что она собиралась остаться с ним. Не видел ее, только чувствовал, стоит рядом. И пышет от нее теплом в темноте. Теплом молодого тела.

— Это как бог даст, — сказал.

— Вернутся, дядя. И свобода вернется в Литву. За этим и ушли наши. Хорошо станет жить людям!

— Как бог даст, — помолчав, повторил Юзас.

Убежал сон от Юзаса. Растаял туман. Встав поутру, видел, что Аделе давно уже на ногах. Проворно сновала девушка, ухаживала за ранеными, стирала, прибирала, и Юзас даже удивился, поняв однажды, насколько светлее стало в доме. Долго не мог разобрать, почему это. Стояла изба и стоит изба, каждая вещь на своем месте, и ночи длинные, как положено зимой, а светлее. Ходил, хлопотал по дому Юзас, спускался с холма, чтобы поискать приметы весны, а вернувшись, замечал: опять посветлело...

— Ты руки прикладывала? — не вытерпел-таки.

— Да какой там приклад, — покраснела Аделе. — От ничегонеделанья. Неужто буду сидеть именинницей?

Еще пуще зарделась. Спросила, не глядя на Юзаса:

— Нехорошо, что без спросу? Может, ты сердишься, дядя?

Юзас не стал говорить, что нехорошо. Не сказал, и что хорошо. Только фыркнул в усы да отвернулся к окнам. А окна сверкали хрусталем. И глиняный пол избы дочиста подметен голиком, посыпан желтым песочком. Полно было этого песка на холме, желтел на каждом шагу, а ведь не принес Юзас ни разу, не посыпал в избе даже в пасхальное утро. Аделе принесла, сыпала. И покрывало сложено вдвое на кровати да расправлено так, что соломинка из-под него не торчит. Валялось оно, как попало брошенное на кровать, с одного краю, возле стены солома выглядывает, другой край пол подметает, а сейчас, глянь, сложено вдвое да расправлено. И подушки вроде не те. Громоздились серыми комками, а сейчас хрустят белоснежными наволочками, взбитые чуть ли не до потолка.

— Это зачем? — промолвил Юзас.

— Руки сами занятия ищут, дядя Юзас, — оправдывалась Аделе, сразу же поняв, что Юзас не сердится. — Дома так приучена. Сызмальства.

Так говорила Аделе, а Юзас поглядывал на нее украдкой.

Однажды утром Аделе пришла из чулана раньше обычного. Бинтов не хватило. Не найдется ли, дескать, в доме какая-нибудь ветошка или старая простыня? Чтобы только холщовая была. Ветошка нашлась, конечно. Застиранная, ветхая, но из настоящего холста. Аделе вскипятила воду со щелоком, выстирала ветошку, орудуя вальком, потом высушила на ветру, а вечером принесла в избу и принялась резать на узкие полосы. Юзас сидел рядом, сосал трубку, забыв ее раскурить, и глядел, с каким проворством трудятся руки Аделе, кажется, что каждый палец так и дрожит от нетерпения.

Аделе подняла голову, посмотрела на него, улыбнулась.

— Дядя Юзас, а ты любил когда-нибудь?

Юзас стиснул зубами трубку.

— А тебя, дядя Юзас?.. — склонив голову на плечо, смотрела на него Аделе. — Тебя-то любили?

Юзас опять промолчал.

— Ты не сердись, дядя, — виновато сказала Аделе. — Я просто так спросила.

А поскольку Юзас и тут не сказал ни слова, Аделе заговорила опять:

— Живешь один, особняком от всех... Неужто всегда так было? Был же ты молод, хорош собой, наверно, даже на вечеринки ходил, вот я и подумала... Только ты не сердись, дядя Юзас, хорошо?..

Юзас вынул трубку изо рта. Помолчал. Встал с лавки, начал собираться ко сну. Аделе покраснела, сгребла в охапку холстинки, пожелала ему доброй ночи и ушла отдыхать. Так и кончился этот день для Аделе и Юзаса.

А постель для себя она устроила не в избе, где Юзас, и не в чулане, где эти двое, а на чердаке. Каждый вечер забиралась туда, а взобравшись, затаскивала за собой и лестницу. Неизвестно почему, а затаскивала. И только утром спускала ее. Войдя в избу,

наливала в широкое корыто ледяной воды, прямо из колодца, и, охая, начинала умываться. Вся с головы до ног умывалась. Сперва до пояса, а потом ноги, и те вскоре уже пылали пунцовым пламенем. Грудь так и рвалась у нее из платья, лицо — кровь с молоком, а чистюля была такая, что одежда на ней просто хрустела. Юзас отворачивался к стене, когда она поутру умывалась. Но Аделе, бывало, и ухом не поведет, словно и не мужчина Юзас, а так себе. Старый дядя, ничего больше.

— Значит, выйдешь? — спросил Юзас.

— Куда выйду? — уставилась на него Аделе.

— За Адомелиса, говорю, выйдешь?

Аделе усмехнулась, прищурилась.

— Да мы уже, дядя Юзас.

— Что уже?..

— Как муж с женой.

Юзас долго смотрел на нее.

— Муж с женой? — переспросил. — Безо всякого?

— Без чего безо всякого, дядя Юзас?

— Не мое дело, — сказал Юзас.

Аделе остановилась перед ним. Смотрела на него. Добрым взглядом смотрела на Юзаса.

— Ты, часом, не про костел, дядя Юзас?

— Не мое дело, — повторил Юзас. — Как кто хочет, так и пускай. Только раньше люди сперва кой-куда заходили. А потом уже, как муж и жена.

— Так ведь и мы, дядя Юзас! Война кончится, пойдем и распишемся. А теперь? Неужто не слыхал, не знаешь, что творится? Облавы повсюду, хватают людей, увозят в гитлеровское рабство, рыть окопы на фронте... Только покажись им!

Юзас помолчал, исподлобья глядя на Аделе. Конечно, правда на ее, Аделе, стороне. Но вся ли правда?

— Могли и подождать, — сказал он. — Не горит.

— А если я люблю? Если люблю Адомелиса, дядя Юзас?

— Как у кого получается.

— А как у меня получается-то? Если каждый день под пулями ходим, то как? Ждать?

Юзас помолчал. Аделе долго еще смотрела на него, а потом улыбнулась, подошла к Юзасу. Уселась рядышком на лавке.

— Я почему спрашиваю, дядя Юзас, — помолчав, сказала. — Хочу узнать: костел важнее или любовь?

— Как для кого.

— Как для кого? Всегда ли как для кого?

— Зачем меня спрашивать? У меня одна песенка, у тебя другая.

— Другая? Тогда скажи мне, дядя Юзас, вот что, — снова заговорила Аделе. — Конечно, если хочешь. Если не хочешь, то и не надо. И не сердись на меня. Ничего худого я не думаю, просто хочу узнать. От тебя самого. Ты правда... правда, никого не любил, дядя Юзас?

— Уже спрашивала, — шевельнул губами Юзас.

— А если по правде? Если по самой чистой правде?

Ничего не ответил ей Юзас. Даже не повернулся в ее сторону.

— И ты прожил здесь, на Кайрабале, совершенно один? Без никого, дядя Юзас? И когда молод был, хорош собою... Ты же был хорош собой, дядя Юзас. И сейчас еще красавец!.. Значит, и тогда? Так уж и без никого, без никого, дядя Юзас?

Юзас шевельнулся.

— Не это заботило, — сказал.

Аделе встала. Постояла у окна, повернулась к Юзасу. Казалось, она вот-вот заплачет. Неизвестно почему, а заплачет.

— А я слыхала, ты очень... очень, дядя Юзас.

— Собака брешет, ветер носит.

— От людей, не от собак слыхала. А теперь вижу, врал люди.

Слезы покатились из ее глаз. Со злостью смахнула она их кулаком. Подошла к Юзасу вплотную.

— Не любил ты, дядя Юзас!

Юзас сидел не двигаясь. Хотел ответить ей, этой девчонке, но перехватило дыхание, хотел встать с лавки, но тело налилось свинцом.

— Никого ты не любил! — почти зарыдала Аделе. — И теперь никого не любишь! Никого... Ты приютил нас, дядя Юзас, куска хлеба не пожалел, ты очень добрый, а на самом деле-то?.. Ты хоть раз зашел к ним, хоть разочек? Поговорил как человек с человеком, посидел с ними? А им-то каково, раненым каково, дядя Юзас? Сидят оба, с места двинуться не могут и все думают, что ты сердишься на них, что обуза они для тебя... Нет, никого ты не любишь, дядя Юзас!

Юзас вздрогнул, встал с лавки, остановился посреди избы. Лишь теперь, когда Аделе рубанула плеча, подумал, что и правда... и правда так оно. Ни разу ведь не входил в чулан. Даже в первый вечер, когда отвел их туда. И во второй вечер. И во все другие вечера. Подходил к двери, подавал через порог Аделе миску с мясом, доску с нарезанным хлебом, медом, нарубленным сыром и назад. Сразу же назад. Ни разу не переступил порога. И в голову не приходило, что может быть по-другому. Что надо по-другому. А вот теперь Аделе... Стоит перед ним и смотрит полными слез глазами. Уже не плачет, но и слезы не высыхают. Юзас видел, ждет, что же он ответит. И не знает эта девчонка, что все не так, как ей кажется. Не так, как ей втемяшилось в голову. Далеко не так. Когда открывалась поутру эта дверь, когда Юзас видел стол, длинный и широкий, сколоченный собственными руками, да еще нары у стен, откуда у него могли взяться силы переступить этот порог? Только мороз подирал по спине каждый раз. Стоял и ждал, чтобы Аделе поскорее взяла миску да широкую доску, а он мог бы уйти. Уйти, поскорее уйти. Подальше от этого стола, длинного, сколоченного собственными руками. И от этих нары. Подальше, подальше...

Но разве объяснишь ей, девчонке-то, как оно на самом деле?

Юзас повернулся спиной к Аделе. Не сказал ни слова и не ждал от нее вопросов.

Аделе вздрогнула, позвала:

— Дядя Юзас.

Юзас и сейчас промолчал.

Аделе подошла, взяла его руку и поцеловала.

— Прости меня,— сказала негромко.

Юзас стоял ни жив, ни мертв. И глаза его были полны слез. Его глаза, а не Аделе.

И была ночь. В избе и на дворе. Всюду ночь. Темная, глубокая, долгая, безмолвная. Потрескивал под потолком фитилек горячей лампы. Подкрученный, чтобы лампа едва мерцала. Чтобы поменьше вытягивала керосина.

32

Каждое утро Аделе просыпалась раньше всех. Спустившись с чердака, желала доброго утра Юзасу, улыбалась издали, брала полотенце и мыло. Умылась она теперь у колодца и возвращалась оттуда, отбивая зубами дробь. Юзас не раз говорил ей:

— Простудишься.

И каждый раз Аделе отвечала:

— Авось не простужусь.

И снова улыбалась ему издали.

Да и Юзас теперь, сам не понимая почему, избегал оставаться вдвоем с Аделе. Только вошла она в избу, а Юзаса работа зовет из избы. Сама зовет, Юзас не ищет ее. Когда есть хозяйство, разве может работа тебя не звать? Трудись хоть целыми днями да целыми ночами, а все равно зовут тебя работы нескончаемые, недоделанные, как снег на голову свалившиеся. Когда руки в работе, то и глаза только работу видят. Ничего больше.

Оба с Аделе теперь они так...

С того вечера. Когда потрескивал подкрученный фитилек лампы.

Оба.

Но в чулан и сейчас Юзас не заходил. По обыкновению, приносил миску да широкую доску с едой для мужчин, и Аделе не брала еду через порог, а вставала в дверях. И, когда она отворачивалась, унося ее, Юзас не уходил, как раньше, а стоял и глядел, как поправляются эти оба, приведенные Адомелисом, видел, что со вчерашнего снова поубавилось на них повязок, а на щеках уже проглядывает румянец, не очень-то яркий пока, но проглядывает. Хорошо, что так, думал Юзас и опять не говорил ни слова. Ни Аделе, ни этим двоим. Раз хорошо, то зачем еще говорить-то? И раненые улыбались издали Юзасу. И тоже молчали. И стояли у длинного стола. Ни один не садился, пока Юзас был у порога. И Аделе тоже. Миска да широкая доска на столе, а они стоят у стола. Довольно долго задерживался у порога Юзас, сам не понимая того, что ждет, чтобы с ним заговорили. Сами. И эти трое тоже ждут. Так они и стояли вчетвером. Юзас по эту сторону порога, а те трое по ту.

Так уже теперь повелось каждым утром. А день шел за днем.

Пускай себе идут дни, думал Юзас. Пускай. Дней-то много в жизни человека. День проходит, другой приходит, потом еще третий. И все один к одному. Не очень-то и разберешь, который день среда, а который воскресенье. Да и зачем различать? День прихо-

дит неведомо откуда и пропадает опять же неведомо куда. Ну и пускай. Пускай.

Работу Юзас тоже не очень-то теперь различал. Когда потеплело, пахал поле у холма, и казалось ему, что во сне идет он за плугом. И саврас выглядел как во сне: серый какой-то, не лошадь, а комок тумана, ползущий по Кайрабале, хотя и бьет по земле копытами, как не бьют во сне лошади. И рассаду выращивал, как во сне, и лен так сеял. Даже у болотных окон, точно во сне, вытаскивал из воды черноспинных линей, чтобы побаловать тех двоих, что стоят у длинного стола в чулане. И даже по ночам, когда те двое выходили во двор подышать воздухом, Юзасу снова все казалось каким-то ненастоящим. Маячат люди во тьме весенней ночи, маячат кусты у забора, крест посреди вишенника, ульи под яблонями, но все как бы неосвязаемо, недоступно и руке и глазу. Сон, да и только.

Вздрогнул, когда однажды посреди ночи опять увидел у своей кровати Адомелиса. Протянул руку, не просыпаясь, долго мял полу его куртки. Одежда была настоящей, и Адомелис был настоящий. Только без полушубка теперь, а в суконной куртке, перетянутой широким кожаным ремнем. Значит, много дней прошло. И Адомелис совсем настоящий. Не во сне, не в тумане. Настоящий.

— Тебе чего? — спустил ноги с кровати Юзас.

Посмотрел на Адомелиса, и сердце заняло. Оказывается, соскучился он по нему, по сыну родного брата. Не задумывался, что может соскучиться, только теперь понял. Неумело скрывая радость, пригласил:

— Садись уж, садись.

— Забрать их пришел, дядя Юзас. Давно надо было, да самолет опоздал. Ты не сердись.

— Выпить не хочешь?

— Смеешься, дядя Юзас? Времени ни минуты.

— На травках настоящая.

— Не шути, дядя. Забираем и уходим.

Юзас ничего не сказал. Подошел к шкафчику в углу, молча собрал закуску, достал пузатую бутылку из черного стекла. А когда повернулся с угощением, то увидел, что Адомелис в избе не один. С ним еще двое. Оба незнакомых. А рядом и те двое. Из чулана. И Аделе с ними — уже в платке, с узелком в руках. И все смотрят на него, на Юзаса. Хорошо смотрят. Очень. Добрыми глазами.

— Не обижайте,— сказал Юзас, растерявшись от доброго сияния этих глаз. — Пожалуйте к столу, вот сюда. Всех зову. На травках, говорю. Нигде такой не найдете, хоть вдоль да поперек исходи. Глоточек опрокинул, и в глазах яснее. Уже яснее!..

Заговорил Юзас и не мог остановиться. Подошел к столу, стукнул доньшком пузатой бутылки по столешнице, подул на рюмку из дымчатого стекла, почистил ее большим пальцем и налил до краев.

— Как же уйдете подсухую? — кончил разговор. — В голове у вас помутилось? Не положено уходить подсухую!..

— Не надо, дядя Юзас,— отозвался Адомелис. — Самолет ждет. Каждая минута дорога!

Юзас посмотрел на него.

— Значит, обижаешь? — поднял в руке бутыль.

— Да ты что, дядя!

Мужчины стояли, опустив головы. Ни один ни слова не сказал. Главный здесь, видно по всему, Адомелис. Тихо стало в избе.

Первой опомнилась Аделе. Прошла мимо мужчин, взяла рюмку и залпом. Крякнула так смачно, словно ничего другого в жизни не делала, только потягивала настойку Юзаса. Поднесла ему пустую.

— Накапай, не жалеи!

И пустила рюмку по кругу, как положено, когда пьешь в доброй компании. И мужчины выпили по рюмочке, а потом и стали закусывать тем, что выставил на стол Юзас. И Аделе закусывала вместе со всеми, за обе щеки уплетала Юзасово угощение.

— Молодец девка! — сказал Юзас. — А вот вы в коленках слабы. Для рюмочки, видите ли, минуты не найдете.

Мужчины рассмеялись. И Адомелис с ними.

— Вася теперь где? — спросил Юзас. — Жив ли Вася?

— Немца бьет, — сказал Адомелис.

— Значит, живой.

— С твоими сапогами не расстанется и все тебя вспоминает. Жесткий, говорит, старик, но сверху жесткий, а сердце у него золотое.

— Много говоришь.

— Передам Васе, что помнишь. Приятно будет ему.

— Много...

Адомелис сидел за столом, поставив меж колен винтовку. Ломал хлеб, брал пальцами мясо. Юзас пристроился на другом конце стола, перед этим еще раз попросив всех усесться, не обижать. Прищурясь, глядел, как перемалывали пищу молодые острые зубы племянника. Хорошо было Юзасу. Хорошо ведь, когда гость сидит за столом да не хаает угощение.

— Близится фронт, дядя, — сказал Адомелис, собирая в горсть хлебные крошки. — Бегут немцы. Неужто ночью не слышишь?!

— Крепко сплю.

— Разбудят! Когда наши «катюши» жажнут, земля задрожит. Скоро услышишь, дядя. И своими глазами увидишь.

Юзас посмотрел на Адомелиса и огляделся.

— Где же ребята? — спросил. — Аделе где?

Изба была пуста. Адомелис бросился к двери.

— Погоди, — остановил его Юзас.

Не говоря ни слова, зажег фонарь. Миновали темные сени, вышли во двор. Здесь, у колодца, стояли мужчины, и Аделе вместе с ними.

Юзас, все еще не говоря ни слова, погасил фонарь, взял его левой рукой, а правую давал мужчинам пожать. Они подходили к нему в темноте, и Юзас не мог разобрать, кто из них кто. Опять все было как во сне. Вздвогнул и как бы проснулся, лишь почувствовав в ладони ласковую и теплую руку Аделе. А после нее опять все в тумане. Только услышал над ухом голос Адомелиса:

— Прости, дядя, за все хлопоты.

— Много говоришь.

Мужчины обступили Юзаса, и он услышал, как они говорят в темноте, что он, дядя Юзас, не кто-нибудь другой, а настоящий партизан, самый что ни на есть народный мститель. Они говорили вполголоса, но очень внятно. И Юзас узнал от них, что освобожденная Советская Литва, а освобождена она будет очень скоро, никогда не забудет его.

Юзас стоял в темноте. Стоял и молчал, держа в опущенной левой руке фонарь. Не первый раз слышал он такое. На собрании слышал, куда пригласили его еще перед приходом немцев, когда давали землю новоселам, и на митинге в Мальдинишке, когда Красная Армия пришла. Говорил тогда один человек, взобравшись на помост из белых досок, а тысяча или даже больше тысячи слушали его. Сейчас Юзас слушал один, а несколько человек говорили для него, для Юзаса. Для него одного. И Юзас вспомнил, как Стонкусов сынок говорил ему. Тоже одному. И как грозился.

— Много говорите.

И увидел, что нет вокруг него никого. Мужчины уходили в темноте к гати. Неслышно удалялись. Как и тогда, когда на болоте еще лежал снег, речушка была закована льдом, а они привели этих двоих. Вот и не слышно уже. Лишь кусты шелестят, мечутся ветви их в весенней ночи, а течение слегка колеблет камыш.

Юзас даже откинулся назад, почувствовав, что вокруг шеи обвились теплые руки Аделе. Поцеловала его в щеку, потом в другую, и побежала. Все дальше и дальше. И опять не слышны шаги. Ни ее, ни чьи шаги.

Только теперь понял Юзас, что остался один. Теперь уже настолько один, как еще никогда не был. Ни до войны, ни раньше. Никогда.

Почти до утра простоял он во дворе с фонарем в опущенной руке.

Не соврал-таки Адомелис. На четвертую или на пятую ночь после гостей Юзас услышал сквозь сон: грохочет. Встал с кровати, вышел во двор. И правда грохочет! Очень еще далеко, но грохочет. Даже саврас тревожно заржал, выпущенный на выгон под холмом. И тут же красные сполохи в небе на той стороне. Далеко еще. За Дебейкяй, а может, за Камаяй или Ужепалаяй. И Юзас подумал, что, может, это и не то, о чем говорил Адомелис, может, только гроза надвигается с востока с громом да молниями. Грозы обычно приходили на Кайрабале с запада. И ветры самые буйные и ливни. Может нагрянуть ведь и с востока. Грозы отовсюду идут. Теперь тоже было похоже на грозу. Поначалу гром, потом ветер сгибает деревья да кусты, заволакивает небо тучами так, что кажется — наступила ночь, потом разражается ливень, и только тогда уже эти огненные сполохи. Вслед за громом, ветром да ливнем. И тогда все знают: горят избы, подпаленные молнией, пылают леса. Значит, и теперь такое. И Юзас тут же увидел, что все-

таки не такое. Дождя нет, небо усеяно звездами, ветер молчит, да и гром лупит не раскатами, как обычно, а грохочет не переставая, просто гул идет по всему небу. Видать, и впрямь не соврал-таки Адомелис. Не гроза это и не ветер, а война назад катит...

И следующую ночь так. И третью. Юзас даже ложиться не стал, стоял на дворе, слушал. И увидел, что грохот и зарево уже не на востоке, а слева и справа, и даже впереди, там, где вечером садится солнце. Война пришла и обходила стороной, огибала Кайрабале и Мальдинишке. Сюда залетали только самолеты. Все больше ночью. Много их было, этих самолетов. И все до единого тяжелые. И летели не высоко, а у самой земли. И рокотали так, что осока на Кайрабале прижималась ко мху, а у Юзаса с головы слетела шапка. А потом опять ничего. Налетели и улетели.

На рассвете Юзас увидел, люди гонят скотину с хуторов. В сторону Видугире. Как и в первую войну. Только тогда люди гнали ночью, а сейчас на рассвете. И даже днем. Юзас взобрался на самую вершину холма и увидел, что очень уж торопятся люди гнать скотину. Лупят ее жердями, хлещут кнутами и кричат во всю глотку. Все кричат — и коровы, и люди. А коров-то осталось совсем немного. Как всегда в войну. Лошадей, правда, люди не били. Никто не бил. Лошадей вели за повод молча, стараясь прошмыгнуть стороной да кустами. Но их тоже вели в лес. Все уходили в лес да в лес. Никто не шел из лесу. Не так, как в ту войну. Тогда люди оставляли в лесу при коровах и лошадях двух-трех мужчин да еще подпaska, а сами отправлялись домой, копали ямы в саду, прыгая в них с женами да детьми и ждали, прижавшись щекой к земле, когда же эта война пройдет и можно будет пригнать коров и начать жить сначала. Теперь вот по-другому. Войны, видать, тоже не все на один манер. Теперь и женщины, дети и даже дряхлые старики торчали в лесу рядом со своими коровенками да лошадьми. Нет, не все войны на один манер. И люди неодинаково ведут себя в войну. Долго стоял Юзас на вершине холма.

Каждое утро он поднимался на холм. Стоял, приложив руку козырьком к глазам, осматривал все окрест. Пусто вокруг. Прогудела, прогремела война. Улетели в сторону заката самолеты. Тишь. Пустота. Даже птицы не летают и деревья стоят, не шелохнув листочком. И лишь на которое-то утро Юзас увидел: то в одном, то в другом месте вдруг зашевелились кусты на опушке леса. Поначалу осторожно выглянет голова человека, потом уже весь человек, а вслед за ним коровьи рога или взнузданная морда лошадиная покажется. По одному выглядывали, а затем и по несколько сразу. Потом и целая орава из лесу! По полям да лугам, по дорогам да тропам. И все бегом, бегом. И ни один не поднял руки с жердью или там кнутом: коровенки бежали сами, да еще так шустро, что не каждый хозяин успевал за ними. И лошадей никто не вел за уздечку. На лошадях ехали верхом. Без седла, за гриву держась. И лоша-

ди ржали так, что поля звоном звенели. И тут же откликнулись со всех сторон птицы. Запели, загомонили, закричали. Стаями летали над Кайрабале, над лугами да пашнями. Видимо-невидимо, словно и не лето теперь, а еще весна, веселая и солнечная. Из всех птиц только вороны не участвовали во всеобщем празднике, сидели на вершинах елей. Черные, угрюмые, молчаливые. У Юзаса даже сердце екнуло: с чего бы они так, чуют недоброе или ждут чего-то? Но ненадолго. Екнуло сердце и отпустило. А ну их, ворон-то!

Все утро простоял Юзас на вершине холма, а спустившись, увидел брата Адомаса, который сидел на привычном месте, на лавочке под окном избы. Юзас даже остановился, до того неожиданным было появление брата. А тот осунулся еще больше, кости просто выпирали, как выпирают из земли корни сосен на дороге, изъезженной телегами. Только глаза светились такой покойной и умиленной радостью, какой ни разу не видел Юзас в глазах брата. Адомас поднялся, помолчал, попросил:

— Давай поцелуемся, Юзас.

Стоял он так близко от Юзаса, как никогда раньше, но Юзас плохо различал брата. Словно сквозь густую пелену дождя, льющегося летом на листву, словно сквозь прозрачный воздух, рябящий над полями в летний зной.

— Чего же плачешь-то? — спросил Адомас.

— Да и ты... — сорвался голос у Юзаса.

Второй раз в жизни Юзас не удержал слез. Первый, когда Аделе ему тогда, в избе, сказала, что не любит он никого и не любил. А теперь второй.

— Да и ты, — повторил брату. — И ты.

Обнялись братья, поцеловались крепко, но рук не отпускали. Стояли, крепко взявшись за плечи, и смеялись. И плакали. Плохо различали друг друга и смеялись. И слушали, как смеется и один и другой. Оба слушали. Адомас ослабил хватку первым. Смахнул со щеки слезу.

— Виноват перед тобой, Юзас. Адомелис вернулся, сказал все.

— Много говоришь.

Братья уселись на лавку. Юзас потянулся за самосадом, но так и не достал.

— Юзукас-то вернулся?

— Жду, — ответил Адомас. — Жду его, Юзас.

— Вернется, никуда не денется. Когда война кончается, люди возвращаются домой.

— Война еще полыхает, Юзас. Всяко может обернуться. Адомелис говорил: немец-фашист еще на обеих ногах стоит. А мой Адомелис знает.

Адомас помолчал.

— Одно горе с детьми, — сказал. — Растишь, холишь, а потом... Юзукас бог весть где, Адомелис даже ног дома не согрел, в Мальдинишке убежал.

— Опять при власти? — уставился на брата Юзас.

— Твердил да долбил ему: не в политике твое место, а за плугом. Отец мой землю пахал, дедушка Йокубас, я пашу, и ты тоже должен. За плугом наше место. Думаешь, послушался? Много теперь дети родительского слова слушаются? Своим, своим умом

теперь дети. Все они знают, все понимают. А ты, отец, будь здоров!..

— При власти Адомелис?

— Не это хуже всего, Юзас. Не это.

— Что же еще?

— К тебе, часом, не приходил?

— Адомелис-то?

— Втемяшил в башку: Стонкусова сына из-под земли достану, отрыгнется ему немецкое время! Просто кипит весь.

Адомас опять помолчал.

— Не говорил тебе... Аделе у него убили.

Долго молчал Юзас. Смотрел на брата и все не верил. С трудом сглотнул горький комок.

— Стонкусов сынок?..

— Ехала на велосипеде через Видугире, не остереглась. Комсомольцев организовывать ехала Аделе через Видугире.

— Стонкусов сынок, говоришь?..

— Может, он, может, кто другой из них. Теперь они все заодно. Нету больше Аделе...

Адомас жалобно улыбнулся.

— Хорошая сноха была бы,— сказал. — Обвенчал бы их, в горницу пригласил: живите, дети. Если б не политика, хорошая сноха... хорошая была бы.

Юзас повернулся к брату.

— Ошибаешься,— сказал.

— А если нет?

— Ошибаешься,— повторил Юзас. — И без политики гибнут люди.

Адомас замолчал надолго.

— Если Стонкусов сынок покажется,— сказал,— пускай сгинет. С глаз долой. Пускай не ждет, чтобы мой Адомелис... Хватит уже крови, Юзас. Что было, то минуло, Аделе все равно не вернешь. Война кончилась, вот и хватит. Хватит, Юзас.

Юзас шевельнулся на лавке. Очень уж непривычными были для него слова брата. Уставил глаза на Адомаса, ждал, чтобы тот опустил свои. Но Адомас не сдавался, как сдавался всегда.

— Опять ошибаешься,— сказал Юзас.

— Кровью кровь не потушишь, Юзас. Ухлопаешь Стонкусова сына — десять, а то и сотня вместо него на наши головы. Не хватит ли? Не хватит ли крови-то?

Юзас встал с лавки. Смотрел в щель между строениями на болото, над которым еще курился утренний туман. Не видел Кайрабале. Тумана не видел. Перед глазами словно живая стояла Аделе. Даже голос ее слышал. Тихий шепот ее над ухом. Всю ночь простоял тогда во дворе Юзас с фонарем в опущенной руке. Не знал, даже подумать не мог, что последний раз видел Аделе. Повернулся к брату.

— По Аделе ты плачешь,— сказал брату. — И по сыночку Стонкуса плачешь.

— По всем плачу, Юзас.

Юзас помолчал.

— Зря пришел.

— Не можем мы столкнуться, Юзас. Будто и не братья больше. А мне-то много ли надо? Юзукас чтоб вернулся, моя жена чтоб не плакала. Я-то, может, и

внуков бы еще дождался. Я свое отжил, Юзас, хватит крови. Хватит крови, Юзас, божьим словом тебе говорю.

— Зря пришел!

Не слышал и не видел, как брат встал с места, как двинулся в сторону гати, а потом и по ней, мимо кустов на берегу болота, в поле. Юзас опять стоял один-одинешенек. Как той ночью, когда распрощался с Адомелисом и его партизанами. И с Аделе. Только теперь была не ночь. Туман рассеялся на Кайрабале, солнце пробивалось сквозь тучи на востоке. Юзас услышал, как, стуча копытами, подошел к нему саврас и ткнулся мордой в спину. Саврас просился в работу. Юзас обернулся, улыбнулся лошади, потрепал рукой гриву. Саврас тихонько благодарно заржал. Одряхлел уже и он, годы вот-вот вытолкнут из хомута. Как вытолкнули когда-то гнедка. Гнедка давно нет, умер, пасясь на худом лугу. Юзас закопал его. А сейчас вот и саврас...

Юзас все трепал да трепал гриву лошади.

34

А Стонкусов сынок появился-таки на Кайрабале. Не сразу же после Адомаса. Даже не летом, а зимой, неизвестно только, первой после Адомаса или уже второй, а то и третьей. Юзас давно потерял счет дням и неделям. Слонялся по дому, бродил по хутору, ложился, когда от усталости на ногах не держался, садился за стол, когда от голода кишки крутило. Вот так жил Юзас, когда на Кайрабале появился Стонкусов сынок. Зимой появился.

Перед появлением его Юзас слышал пальбу. Ночью стреляли. В стороне Видугире. Хлопали винтовки, стрекотали пулеметы. Как в ту ночь, когда под утро постучались к нему в окно Адомелис с Васей. И, как в тот раз, едва затихла пальба, Юзас услышал в темноте стук в окно избы, а потом и в сенную дверь. Даже не удивился Юзас: видать, всегда так — постреляют, постреляют люди, а потом стучатся в дверь. Зажег фонарь, отодвинул засов. За порогом стоит Стонкусов сынок. Обими руками сжимает винтовку, зуб на зуб у него не попадает, шапки на голове нету.

— Фонарь... фонарь гаси!

А сам — в ноги Юзасу. Тут же, в сенях.

— Если бы не я, расстреляли бы тебя, дядя Юзас. В Мальдинишке, помнишь?.. Оглушил я тебя тогда, чтоб спасти от тех... Может, ты и не знаешь, как там все было... Теперь твой черед помочь мне!

Юзас стоял перед Стонкусовым сыном. Левая щека у того в крови, лоб в ссадинах...

— И сына брата твоего, Юзукаса! — торопливо выкладывал Стонкусов сынок. — В Германию племянника твоего, не под пули его отдал. В Германию. Не кто-нибудь другой, а я, дядя Юзас!

В стороне Видугире снова слышались выстрелы. Стонкусов сынок, шатаясь, встал на ноги, прислонился в темноте к косяку двери.

— Быстрее, дядя Юзас!..

— Рад бы. Да ведь найдут. Мой хутор теперь все, как свой карман, знают.

— Я и не прошу спрятать. На тот берег Кайрабале мне надо. Один ты, дядя Юзас, знаешь тропу через трясину. Об этом только и прошу.

— Подожди тут,— сказал Юзас, поворачивая к двери избы.

— Ни с места! — крикнул Стонкусов сынок, выставив винтовку прямо на Юзаса. — Сейчас же дорогу показывай. Впереди меня, впереди меня пойдешь!

— Голый да босый пойду?

— Не мое дело! Впереди меня!

На дворе уже занимался рассвет, когда они вышли во двор. Юзас оделся и обулся, отведя рукой дуло винтовки в сторону. У стены избы взял шест. Тот самый шест, с которым вел Адомелиса и Васю. И повел Стонкусова сына той же самой потайной тропой, по которой вел тех двоих. И сразу же увидел: зима уже на исходе, между кочками булькает вода, ноги местами до колен уходят в мочажину, пахнет прошлогодней отсыревшей осокой, зыбится, колышется кругом трясина. На каждом шагу Юзас тыкал шестом, искал твердь среди алчных зыбунов, показывал Стонкусову сынку, где ставить ногу, и тот делал шаг, обеими руками стискивая винтовку.

— Живее, дядя, живее!

— Рад бы,— после долгого молчания сказал Юзас. — Это тебе не большак.

— Пропали все пропадом, мне бы только на тот берег! — отбивал зубами дробь Стонкусов сынок.

Покрепче сжал винтовку, пальцами правой руки нашарил затвор. Юзас оглянулся на него — другую песенку запел Стонкусов сынок.

— Раз уж так приспичило,— сказал.

Уже при свете добрались они до середины потайной тропы. До самых широких болотных окон, которые даже самый лютый мороз не мог заковать в лед. Юзас остановился. Вокруг пустошь, поодаль выстроились полукругом березки да сосенки. Юзас долго тыкал шестом тающий снег, густой до черноты. Искал под ним, где ставить ногу, и все не находил, шест каждый раз уходил все глубже.

— Ну? — рассвирепел Стонкусов сынок. — Когда кончишь?

— Когда нашарю...

— Не время для шуточек! — взревел Стонкусов сынок, лязгнув затвором винтовки. — Ну? Долго еще?..

Юзас повернулся к нему. Вроде бы осторожно повернулся, но зацепил-таки локтем. Пошатнулся сын Винционе, сделал шаг назад, и тут же вокруг ног появилась вода. Закипела, забулькала. Стонкусов сынок побледнел, разинул рот для крика. Трясина уже затянула его выше колен.

— Так ты со мной... так?! — завопил не своим голосом.

Прицелился в Юзаса, но руки уже не слушались его, винтовка так и плясала в них. Юзас молча взял за дуло, вырвал винтовку из рук.

— Дядя, не губи спасай!.. — вопил тот, увязая

все глубже. — С ума ты?.. Вот я тебя!.. Спаси, помилуй, господи-боже!.. Дядя, дядя, дядя-а-а!..

Проснулись птицы от этого вопля и сами загомонили. Загорланили вороны, лупили крыльями по воздуху над болотными окнами, взметнулись всей стаей вверх, потом бросились вниз, едва не шлепнувшись в воду, и снова взмыли с отчаянным криком. Юзас ничего не слышал. Стоял и смотрел, как трясина засасывает сына Винционе. Все глубже и глубже. Тот цеплялся руками за мох, осип от крика и только ворочал глазами навыворот, все еще надеясь, что Юзас поможет, протянет ему шест. Но Юзас стоял не двигаясь. Стоял и смотрел. Трясина дошла уже до плеч сына Винционе, уже и шея погрузилась в черное месиво, потом вода залила рот. Юзас видел, как смыкается тина над головой сына Винционе, булькнув огромными пузырями...

Вороны перестали горланить, застыли черной тучей в воздухе, дружно каркнули, захлопали крыльями и улетели в сторону Видугире.

Юзас стоял молча. В руках он держал винтовку и шест. Смотрел на трясину, словно прислушиваясь, как сын Винционе все глубже и глубже уходит в бездонную ночь трясины. И, когда лопнул последний пузырь, вздувшийся над трясинной, Юзас перевел дух.

Долго еще стоял у болотного окна.

35

А вернувшись домой, увидел Юзас, что все здесь, как было: изба о трех половинах, саврас, колодец и те трое под вишенками. И не так, как было. Словно сквозь мглу все. Или как во сне. И не проснуться от этого сна, и не выбраться из этой мглы.

Долго ждал новых гостей Юзас. Новых гостей. Когда-то за Адомелисом и Васей гнался Стонкусов сынок со своими полицияями, сейчас должен бы примчаться Адомелис с Васей. Ведь должен был заметить Адомелис, что среди «лесных», убитых в Видугире, нет Стонкусова сына. Глаз у Адомелиса остер. А раз нет, то где? У Юзаса он, нигде больше. Вот Юзас и ждал гостей. Все утро, а потом и весь день, даже за работу не брался. Но Адомелис не показывался. Никто теперь не показывался на Кайрабале. Юзас жил себе, поживал один.

И понял: некого больше ждать-то. Точно, некого. И стало ему казаться, что нигде никого не осталось, только он, Юзас. Один на своем Кайрабале. По утрам вставал до зари, как вставал раньше, и за работу брался каждое утро, как раньше, но жизнь уже не шла, как раньше. Будто сквозь мглу все казалось. Будто сквозь мглу. Как тогда, при немцах в Мальдинишке, когда его гнали на расстрел на еврейское кладбище и когда он вел Адомелиса с Васей потайной тропой через Кайрабале, и еще позднее, когда Аделе поцеловала его в щеку. Но тогда сон каждый раз проходил, мгла рассеивалась. Юзас снова все видел так, как было по правде. А теперь вот нет. Миновала зима, занялась весна, но, куда ни пойдет Юзас, все как бы на чужих ногах, за какую работу ни возьмется — все чужими руками. Будто и не он,

а кто-то другой ходит, работает, ест, а он только смотрит со стороны, как тот ходит, работает, ест. Юзас встряхивал головой, пытаясь отогнать это навязчивое, и все не мог.

И, когда уж точно никого не ждал, на его холме появился Адомелис с другим человеком, незнакомым, не виденным ни разу. И сказал ему, что запомнили о нем, о Юзасе. Столько всего вокруг, что я не упомню. А теперь окрестные хуторяне вступают в колхоз, все уже записались, остался только он, Юзас. Вот они и вспомнили, пришли. Он же свой человек, помогал партизанам, а теперь...

Юзас слушал их речи, и ему все казалось, что говорят они не здесь, не в его избе и не о нем, а где-то за стеной и о каком-то другом человеке.

— Так записываешься? — разобрал Юзас последние слова незнакомца.

— А куда записываться-то?.. — переспросил.

Он и впрямь не знал, чего хочет от него Адомелис с этим незнакомым. А эти двое не знали, что он не знает. Вот и переглянулись еще раз Адомелис и незнакомый и опять пожали плечами.

— Сколько у тебя земли?

— Не знаю, — ответил Юзас.

— Как это не знаешь?

— Не знаю.

— Надо ему сказать, — вмешался Адомелис. — Дядя Юзас, ты знаешь, с кем ты говоришь? Это председатель колхоза!

— Не знаю, — ответил Юзас, и эти двое не поняли, о чем он — о своей земле или о председателе.

— Хотя бы примерно можешь сказать? Один, полтора, два гектара? Сколько? — допытывался председатель.

— Распахал, вот и есть земля. А сколько, не моя забота.

— Он действительно не знает, — услышал Юзас голос Адомелиса.

И опять перестал различать слова, речи их снова слились в глухой гул. Одно ему было ясно, что говорят о его островке, о земле, до которой не добраться трактору. И что черт знает, что с ним делать, с этим Юзасом и с островком его.

Долго разговаривали между собой гости, потом встали. Незнакомый пожал руку Юзасу.

— Я председатель колхоза.

— Слышал, — подтвердил Юзас.

— Мы посоветовались, и я решил: с сего дня вы колхозник. В правлении оформим все.

Адомелис спросил на прощание:

— Что с тобой случилось, дядя Юзас? Может, помочь чем-нибудь? Теперь ты не один, дядя Юзас.

— Лучше не надо, — сказал Юзас.

А через месяц, а то и два пришли другие люди. Молодые. Привели за постромки четырех телят и принесли бумагу, которую разложили перед Юзасом.

— Подмахни вот тут, дяденька. А телят выращивай. Это колхозные телята. На мясо выращивай. Когда вырастишь, заберем, а тебе других пригоним. За выращивание насчитают тебе трудовни, дядя Юзас. Понял?

Понять Юзас не понял, но бумагу подписал.

— Раз надо, — сказал гостям.

Телят отвел в хлев. К своему белоному, только что отлученному от коровы. И кормил, ухаживал за ними, как за своими. А когда телята выросли в бычков, их и впрямь забрали люди, явившиеся из колхоза, а Юзасу опять привели телят, только уже не четырех, а шестерых.

— Если кормов не хватит, скажешь. Председатель велел. Подбросим щепотку комбикорма. Понял?

— Раз надо.

Так теперь и повелось: к Юзасу приводили телят, от Юзаса, уводили бычков. Юзас не помнил уже, сколько раз меняли у него скотину, только заметил, что телят с каждым приводом становится все больше. Теперь у него в закутах стояло уже целых шестнадцать. Прибавилось не только телят, но и кормов. Колхозники привозили к нему на Кайрабале. В первый раз увидев корма с диковинным названием «комбикорм», Юзас долго смотрел на сероватую грубую муку, взял, полюбил кончик пальца, попробовал. Комбикорм отдавал не то овсом, не то горохом, даже пшеницей, был горьковат, а вместе с тем и сладковат. Юзас подумал, что хоть кашу из него вари — чистое зерно, только перемешанное. Телята бойко уплетали этот комбикорм, а председатель колхоза сказал Юзасу, что они каждый день прибавляют в весе на 450 граммов и что он, Юзас, лучший теперь телятник.

— Раз надо.

Председатель пожал плечами и промолчал. А Юзас попросил у него лошадь да чтоб кто-нибудь из колхозников присмотрел денек за телятами: на трудовни ему отсыпали много зерна и денег дали, эти-то не пропадут, но зерно самое время везти в Мальдинишке на мельницу. На хлеб-то он, Юзас, может и сам дома намолол, всю жизнь на хлеб дома молол, но вот пеклеванной муки не осталось ни горсточки. А без пеклеванной какие блины?

Председатель смотрел на него, словно не понимал ни слова. Потом пришел в себя, сказал:

— Опоздал ты, товарищ Юзас. Мельницы в Мальдинишке уже нет.

— Мельницы нету?

— Давно уже. На элеватор теперь зерно отправляем. Там его и хранят, и мелют, и комбикорм делают. Неужто до сих пор не знал этого?

Юзас помолчал, подумал: смеются над ним или нет? Не поверил, что может быть такое. Нету мельницы? Кто живет без мельницы-то?

Председатель улыбнулся и уехал по гати.

Теперь Юзас, покормив телят да управившись по дому, молол ручными жерновами полученное на трудовни зерно. Смолот несколько засыпок, останавливал жернова и аккуратно подметал гусиным крылом под ними, отделяя самую мелкую и белую муку от той, что потемнее. Вот так Юзас и пеклевал свою муку. И по утрам снова жарил оладьи, иногда пек и булочки с салом, вкусно хрустящие на зубах, а на праздники даже целый пирог.

Так теперь жил-поживал Юзас.

Савраса у него уже не было и другой лошади, купленной жеребенком и выращенной им, тоже. Молодого жеребца увел председатель колхоза. Сказал Юзасу, что немцы уничтожили в Литве лошадиное поголовье, чуть ли не целый миллион голов уничтожили, и неладно, что он, Юзас, один пользуется лошастью.

— Раз надо.

— Когда потребуется, — положил председатель руку Юзасу на плечо, — дадим, не пожалеет. По-товарищески. Огород, скажем, вспахать, боронить, деланку обработать. А то лошадь у тебя лодыря гоняет, зачем ее тут держать?

— Как надо, так и делайте, — ответил Юзас.

Не было у Юзаса и второй дойной коровы. Председатель сказал, что немцы уничтожили коров побольше даже, чем лошадей. Как же он теперь один будет доить двух коров, когда в колхозе у десяти многодетных семей и по одной нет? Юзас выслушал председателя и опять сказал:

— Как надо, так и делайте.

Не было ему жалко ни савраса с жеребенком, ни коровы, хотя та, когда ее уводили, долго мычала и оборачивалась. Раз другие без коровы, с детьми и без коровы, то пускай. Пускай. Как надо, так пускай и будет.

И, словно сквозь туман, услышал однажды утром дребезжание, а потом и увидел, что по гати едет автомашина. Железная была эта машина, только колеса резиновые, а бока из толстого зеленого брезента. Выскочил из нее Адомелис с другим мужчиной. Тот держал в руках большой пузатый кожаный портфель.

— Здорово, дядя Юзас! — сказал Адомелис. — Не ждал гостей? А мы с добрыми новостями. Это фотограф. Сейчас он тебя снимет.

Фотограф достал из портфеля сверкающий аппарат с большим глазом, закрытым черным кружочком, и прицелился в Юзаса.

— Опять паспорт менять? — спросил Юзас.

Он уже менял. И не раз. Сколько властей ни приходило, столько и паспортов людям выдавали. Каждая власть свой паспорт.

— Да что ты, дядя, что ты! — рассмеялся Адомелис. — У нас новости получше. На доску Почета тебя надо, дядя Юзас. Вот фотографию сделаем и вывесим.

Сказал это, а сам на Юзаса смотрит: обрадовался тот? А Юзас молчал, не говорил ни слова.

— За что повесишь? — наконец спросил.

— Не повесим, а вывесим! — поправил его Адомелис. — За хорошую работу, дядя Юзас.

— А когда я работал плохо?

— Это же совсем другое дело, дядя Юзас! — расхохотался Адомелис. — За хорошую работу теперь награждают человека, газеты про него пишут.

Так говорил Адомелис, а фотограф целился из аппарата в Юзаса то с одной стороны, то с другой, даже обежал вокруг колодца, подыскивая, откуда бы получше снять Юзаса.

Юзас стоял почти спиной к фотографу и, когда тот, еще раз обежав вокруг колодца, пытался «взять» его спереди, снова поворачивался спиной. Не назло ему, а потому, что казалось: не его пришли снимать, а кого-то другого, и на доске вывешат кого-то другого, не его. Его-то за что? За то, что работает? А когда он не работал? Пока Юзас так думал, фотограф прицелился-таки, щелкнул аппаратом и сразу повеселел.

— Благодарю вас, товарищ... товарищ...

— Вот и хорошо, — сказал Адомелис. — В субботу приходи в Дом культуры, торжества будут. Я тоже приеду из Мальдинишке. Договорились?

Юзас ничего ему не ответил. Глядел, как они уселись в свою машину и с рычанием укатили по гати с Кайрабале.

В Дом культуры Юзас не пошел.

36

И снова настала зима. Глубокая, щедрая. Замела, запряла Кайрабале так, что и не очень-то разберешь, где островок бугрится, где мшаник разлегся. А тучи с запада все валили. Набухшие, свинцовые. Ползли по небу, задевая брюхом землю, а навалившись на Кайрабале, тут же разверзались, словно вспоротые ножом мясника. И ветер с воем приносился из Видугире, заметая сугробами все, что еще оставалось не заметенным. И вокруг Кайрабале были по ночам волки, клыками и когтями дрались за волчиц. Ночи снега, крови и волчьей любви.

Юзас загодя управлялся с телятами. Еще до сумерек. Прочно задвигал на ночь засовы, окна хлева изнутри подпирал жердями. Войдя в избу, долго слушал, как воет ветер и воют, рычат голодные волки. И забывался крепким и добрым сном. А в полночь Юзас снова вставал с постели. Выходил, взяв фонарь, подставив лицо ветру и снегу. В хлев. Обходил все постройки. Весь хутор обходил. Возвращался в избу. И тогда уже снова валился для долгого беспробудного сна. До самого утра.

Каждую ночь так Юзас.

И все эти ночи были как одна. Все ночи рождественского поста. Не отличишь, которая принесет понедельник, а которая накличет пятницу. Все как одна.

А после рождества пришла ночь не как все. Пришла без предупреждения. С вечера тучи еще давили брюхом землю, и ветер завывал, и волки щелкали клыками. Как и во все вечера. Но, улегшись для вечернего сна, Юзас заметил: что-то не так. Вечер другой. Сон не берет. Ни в одном глазу. Юзас понял, и не будет сна. Ни в одном глазу. А чем зря лежать, лучше встать. Так Юзас считал всегда. Поэтому встал, не дожидаясь полуночи, подошел к двери, потянулся за фонарем... и не взял. Во все окна лилось в избу серебро. Пол был залит серебром. Даже стены из серебра. Зачем фонарь, когда так!

Юзас вышел из избы. А на небе ни тучки. Синее небо. Веселое такое. И луна веселая. На самой середке неба. В самом высоком месте. И светит, брыз-

жет, окатывает серебром сугробы. Куда ни кинешь взгляд, всюду, всюду. И тишина кругом. Никогда не бывает такой. Даже в костеле, когда возносят священные дары. Даже в избе, когда над покойником поднимают крышку гроба. Насколько помнил Юзас, нигде и никогда.

Поэтому так и застыл на месте.

Высоко на вершине холма отделилась от сосновой иглы снежинка и медленно, поблескивая, стала опускаться. И не погасла, опустившись, а зажгла другие, улегшиеся здесь раньше. И заискрился, запылал весь склон холма. А сверху опускалась другая снежинка и третья, и спокойный воздух был уже полон колких блесков. Не только здесь, на островке. Далеко посреди Кайрабале утонувшие в сугробах сосенки и березки-горемыки купались в живом серебре, как дети, проснувшиеся утром в праздник. Даже пар, поднимающийся из болотных окон за сосенками и березками, был серебрист и так искрился, что ни за что не сочтешь его паром, а прозрачным маревом из сказки.

Юзас посмотрел в одну сторону, посмотрел в другую. И вздрогнул. Перед глазами лежала в лунном свете болотная гать. Высоко насыпанная его руками. Во всю свою длину и ширину горела она теперь перед глазами Юзаса. словно все снежинки со всех деревьев слетелись на его гать. И даже звезды с неба. Сколько их было на нем. И сама луна — все ближе и ближе опускалась она к гати...

Юзас снял шапку.

И понял наконец то, о чем и не догадывался раньше. Не для глины, чтобы везти на островок, и не для сливочного масла, чтоб везти оттуда, десятки лет настилал он здесь хворост, укладывал бревна и камни, расчищал зыбучую топь. Нет... Нет, нет! Глубоко упрятав в сердце, так глубоко, что за эти десятки лет даже себе не признавался, Юзас жил ожиданием: вернется? Придет? Может, все-таки придет? Десятки лет вот так. До этой самой ночи.

Юзас крепче сжал в руке шапку.

Ударило в сердце. Остро кольнуло. Как перед радостью. Или перед огромной бедой. Еще не понимая, отчего оно так, увидел: далеко-далеко, там, где кончается гать, среди сверкания снежинок и холодных молний звезд кто-то двигался. Темный, неизвестный. Двигался, приближаясь по гати. Медленно. Словно не на ногах шел, а плыл в этих блесках. И Юзас почувствовал, кровь отхлынула с лица. Нет, не узнал ее Юзас. Из блесков вынырнула незнакомая женщина. На голове тяжелая меховая шапка, плечи ссутулились под тулупом, на ногах меховые сапоги. Довелось Юзасу слышать, что много новых людей появилось в их местах. Вернувшихся издалека и не вернувшихся, а приехавших осмотреться. После войн много лет движутся люди. Один придет, приживется, другой придет и опять уйдет. Может, и эта из таких.

— Так здравствуй, Юзас, — сказала женщина.

Сказала и усмехнулась. И посмотрела на Юзаса.

— Не узнаешь, значит?

Сердце оцепенело. Только и смог Юзас, что махнуть шапкой на избу.

— Заходи. — Отдышался.

А в избе, когда пригласил ее к столу, женщина окинула взглядом стены, печь с высоким дымоволоком. Снова повернулась к Юзасу.

— Так вот и живешь?

И усмехнулась опять. Криво, нехорошо. А Юзас сразу же заметил, что серый металл тусклым зубным литьем выстроился у нее во рту. А из-под шапки не две косы выбились, толстые и черные, что спускались когда-то на спину, а торчат куцы, жалобно поджавшие лапки седины. Отшатнулся к стене.

— Ты тоже не лучше, Юзас.

Юзас крепко стиснул зубы.

— Косы куда подевала?

Женщина снова усмехнулась. Нехорошо усмехнулась, криво.

— Мужа в снегах похоронила. Свекровь и свекра. Обоих. А ты косы ищешь.

Это была она. И уже не она. Не Винцюне. Юзас встал с лавки. Остановился посреди избы. Хотел зажечь лампу под потолком. И заозирался, не понимая, чего ищет, что собирается делать. Стоял в лунном свете и смотрел на нее, как она сидит за столом. Тоже освещенная луной. Посидела, наклонилась к нему. Пронзила взглядом.

— Где мой сын?

Юзас молчал.

— К тебе послала, чтоб сберег. Где?

Юзас молчал.

— Когда вернулась... Амнистия когда вышла, в Литву когда вернулась, разное люди говорили. Не поверила, сама пришла. Правда, ты?..

И впилась глазами в Юзаса. Юзас не опустил глаз. Сам не понял, как выдержал, но не опустил. Винцюне побледнела.

— Могилу-то хоть покажешь?

Юзас молчал.

Винцюне встала с лавки, оперлась кулаками о столешницу. Лицо блее полотна.

— Будь ты проклят! — не столько услышал, сколько прочел по губам Юзас. — Будь проклят ты, убийца литовцев! Пускай кровь сына падет на твою голову!

Юзас не видел, как она уходила из его избы, не слышал даже хлопка двери. Очнулся на той же лавке. Луна уже опустилась. За окнами брезжило утро, а в избе стоял запах Винцюне. Тот, запомнившийся, когда он танцевал с ней, а вокруг шелестели березы. Спелой земляникой пахла тогда Винцюне на залитой солнцем просеке смолистого сосняка. И землей, когда та дымилась ранним вешним утром. Даже звенела изба — полным-полна она была той Винцюне.

Юзас встал. Подошел к сундуку возле стены. Молча поднял тяжеленную, окованную железом крышку. Опустился на одно колено, потом на другое. Наклонился над белоснежными полотняными сорочками.

Боком склонился над полотняными сорочками Юзас.

СКАЗАНИЕ О БЫТИЕ НАРОДНОМ

«Сказание о Юзасе» народного писателя Литвы Юозаса Балтушиса не только выдающееся, но и удивительное явление в современной литовской литературе.

Проза эта прежде всего очаровывает.

Притом — не только «Сказание о Юзасе». Читатель может взять любую книгу Юозаса Балтушиса и воочию убедиться: страница за страницей повествование начинает все сильнее вас завлекать (именно завлекать, а не увлекать!), все отчетливее вы начинаете ощущать таинственную силу писательского слова.

На родине писателя, в Литве, читатели издавна знают об этом удивительном свойстве произведений Юозаса Балтушиса, и, можно сказать, стало закономерностью, что чуть ли не каждая новая его книга становится «бестселлером» литовской прозы. Так было с известным романом в новеллах «Проданные годы», так происходило с его книгой путевых очерков «Дорогами отцов и братьев», с автобиографической повестью «Пуд соли», так, наконец, случилось и с романом «Сказание о Юзасе».

В чем же разгадка художественной тайны силы слова Юозаса Балтушиса? Прежде всего, думается, в доскональном знании жизненной среды, о которой писатель повествует.

На одном из обсуждений романа «Сказание о Юзасе» вдумчивый читатель в шутку заметил, что постройка деревенской избы в романе описана столь ярко, детально и последовательно, с таким знанием дела, что по роману Юозаса Балтушиса можно научиться срубить и построить избу!.. Так же со знанием многих подробностей рассказывает писатель и о других крестьянских делах и работах, которыми изо дня в день занимается неутомимый труженик Юзас. А рядом с этим — великолепные, можно сказать, ювелирно выписанные картины литовской природы в трескучую зимнюю стужу и в одурманивающий летний зной, в радостную весеннюю пору и в тоскливые осенние дни, когда каждый зверек и каждая птица, каждая травинка с самым замысловатым названием живут своей сложной и мудрой жизнью в круговороте солнца, звезд и луны, в смене дней...

Как же тут не вспомнить родоначальника литовской литературы, выдающегося поэта XVIII века Кристионаса Донелайтиса и его знаменитую поэму «Времена года», нередко называемую энциклопедией сельской природы и крестьянской жизни в те далекие времена. Невольно вспоминается и еще одна жемчужина литовской поэзии, уже XIX века — поэма Антанаса Баранускаса «Аникицыйский бор», опять-таки ставшая хранилищем исторических и фольклорных знаний о литовских лесах и вместе с тем — высокопоэтическим творением, в котором, по словам Николая Тихонова, блестяще переведшего поэму на русский язык, «можно услышать целую симфонию...».

Иначе говоря, «Сказание о Юзасе» трудно себе представить и понять в отрыве от лучших реалистических традиций литовской литературы прошлого. Там, в глубинах народного творчества, в сокровищнице веками граненого поэтического и прозаического слова, — неиссякаемый источник мастерства Юозаса Балтушиса, который всегда с огромным уважением и едва сдерживаемой взволнованностью говорит о Донелайтисе и Баранускасе, о Страздасе и Венажиндисе, чьи песни до сих пор поются в народе.

Иному читателю, знающему Юозаса Балтушиса, скажем, по его автобиографической повести или по вступительным статьям к его произведениям, пожалуй, странным и даже парадоксальным может показаться мое стремление говорить о литературных источниках, о литературных учителях писателя, прошедшего в литературе, как известно, тернистый путь самоучки, гораздо раньше познавшего «университеты» жизни, нежели «азбуку» литературного творчества.

Да, жизненного опыта автору «Сказания о Юзасе» не занимать! Сама жизнь была величайшим учителем будущего писателя с самого детства, когда он каждый год нанимался к зажиточным людям — сначала подпаском, потом батраком, вблизи изучая деревенский быт и обычаи, вдумчивым летописцем которых ему предстояло стать в будущем.

Но летопись — еще не всегда и вовсе не обязательно высокая художественная литература. То глубокое ощущение мощного потока истории и прогрессивного, гуманного направления ее движения, которое столь живо присутствует в «Сказании о Юзасе», — это чувство истории не рождается просто при спокойном, пусть самом зорком, но бесстрастном созерцании действительности; будь то деревенской или городской. Вряд ли мы сможем понять историческую прозорливость и отзвуки эпохальных событий, оживающие или точнее — беспрестанно живущие на страницах «Сказания о Юзасе», если не вспомним о многих, на долю будущего писателя выпавших лишениях и скитаниях в годы первой мировой войны. В далекие, но грозные времена, когда многие литовские семьи, гонимые войной, двинулись из Литвы в глубь России в поисках спасения от немецких оккупантов и уже там стали свидетелями великих революционных событий, социально закаливших не одно поколение литовских пролетариев и интеллигентов, которые позже, вернувшись в Литву после долгих скитаний, — после Риги, Москвы, Нижнего Новгорода, после Царицына — включились в революционную борьбу, в создание прогрессивной литовской культуры и литературы.

Сколько сил, упорства и трудолюбия потребовалось для этого, хотя сегодня Юзас Балтушис с характерной для него улыбкой вспоминает времена, когда он, молодой рабочий буржуазного Каунаса, впервые взялся за перо: «После всех работ, после многих фокстротов с полотерной щеткой на ноге обвязываю голову мокрым полотенцем, сажусь за стол и начинаю творить. Творю в дощатом сарайчике, где недавно сдохла хозяйская лошадь — я снял его на ночное время, чтобы не мешать другим отдыхающим после дневных трудов. Стол сколотил сам. И лавку тоже сам смастерил. Покрасил все зеленой краской — слышал,

что это цвет надежды. Выгреб навоз, пол посыпал белым песком — несколько десятков ведер натаскал с берега Нерис. Кабинет получился что надо. Сажу в нем, творю так, что слышно, как вылезают на затылке волосы, вваливаются щеки и гудят колени».

Не каждый современный литератор может нынче сказать подобное о своих первых шагах в литературе. Да и сам сегодняшний Юозас Балтушис, автор «Сказания о Юзасе», пожалуй, чрезвычайно далек от того начинающего писателя.

И все же как они близки.

Я не склонен искать в художественных произведениях чисто биографические черты писателя, но ведь не было бы трудолюбивого и вместе с тем по-человечески противоречивого героя «Сказания о Юзасе», если не обладал бы сам писатель столь мощной, годами взлелеянной верой в человека и в его труд во имя блага людей. С этой верой входил Юозас Балтушис в литературу, на этом стоит он и сегодня: «Особенно я восхищался и поныне восхищаюсь сильными людьми в литературе. Лев Толстой, А. Чехов, О. Бальзак, Бернард Шоу, У. Фолкнер, Майронис и Янонис, Жемайте, П. Цвирка, С. Нерис и многие другие. В каждую минуту отчаянья или безнадежности они утешали меня уже одним своим существованием, поощряли веру в добрые человеческие начала, в более светлое будущее человечества. Они помогли мне преодолеть многие трудные часы, которых предостаточно в жизни каждого человека. Помогают и сегодня, когда я вижу некоторое затишье во всей мировой литературе, ослабление ее воздействия на человека... Я знаю: человечество как бы растерялось от им самим открытых тайн науки, в мире заголосили о том, что литература, изобразительное искусство, музыка, мол, не имеют будущего, их место займут точные науки. И забывается притом элементарная истина, что на подобном пути человечество пришло бы лишь к одичанию пещерного человека. Тем более жестокому, так как это было бы одичание цивилизованное».

Отрадно, что за этой озабоченностью писателя стоят его художественные произведения. И прежде всего «Сказание о Юзасе» — мужественная книга о человеке, которого постоянно подстерегают не только тяжкие испытания истории, но и собственная его гордыня, высокомерие, эгоизм. Лишь в труднейшей духовной, внутренней борьбе удастся Юзасу преодолеть отчужденность нередко враждебного ему мира и ощутить любовь к людям, заслуживающим его повседневных трудов.

В этом — истинная современность и своевременность книги Юозаса Балтушиса, хотя писатель, в основном, повествует о временах прошедших.

В свете лучших традиций литовской и мировой литературы, под пером талантливого народного рассказчика на наших читательских глазах вершится таинство искусства: бытописание переливается в осмысление бытия; крестьянский быт, омываемый беспрестанными мощными волнами времени, обретает глубокий исторический смысл трудолюбивого, мирного процесса, в центре которого стоит человек. Человек труда, одухотворяющий природу, творящий из неживого и бессмысленного — свой надежный, светлый жилой дом.

Таков пафос романа «Сказание о Юзасе» — произведения, которое бесспорно станет в ряд интереснейших книг современной многонациональной советской прозы.

А что касается самого писателя, создавшего в некотором смысле действительно итоговое произведение, то Юозас Балтушис еще вовсе не собирается подводить итоги: он поныне часто и много путешествует по Литве, встречается и беседует со своими читателями, а на его письменном столе, как довелось слышать, — страницы новой будущей книги.

АЛЬГИМАНТАС БУЧИС,

Юозас Карлович Балтушис

СКАЗАНИЕ О ЮЗАСЕ

Роман

Редактор В. МАЛЮГИН

Художественный редактор С. Гераскевич. Технический редактор Л. Ковнацкая.

Корректоры Т. Калинина, И. Филатова

© Фото Н. Кочнева

Сдано в набор 24.12.81. Подписано в печать 02.02.82. А 04024 Формат 84×108¹/₁₆. Бумага газетная. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 8,4. Усл. кр.-отт. 9,24. Уч. изд. л. 11,95. Тираж 2 340 000 экз. (2-й завод 500 001—2 190 000 экз.). Заказ 239. Цена 1 р. 05 к.

Адрес редакции: 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19
ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература».

Набрано и сматрицировано в ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградском производственно-техническом объединении «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

Отпечатано на ордена Трудового Красного Знамени Чеховском полиграфическом комбинате ВО «Союзполиграфпром» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. г. Чехов Московской обл.
Заказ 514.

Рукописи ранее не опубликованных произведений не рассматриваются.

В седьмом и восьмом номерах

**«Роман-газеты»
читайте**

роман

лауреата Ленинской премии

МИХАЙЛА СТЕЛЬМАХА

ЧЕТЫРЕ БРОДА

В романе «Четыре брода» показана украинская деревня в предвоенные годы, когда шел сложный и трудный процесс перестройки ее на социалистических началах. Потом в жизнь ворвется война, и будет она самым суровым испытанием для всего советского народа. И хотя еще бушует война, но видится ее неминуемый финал — братья-близнецы Гримичи, их отец Лаврин, Данило Бондаренко, Оксана, Сайгак, весь народ, поднявшийся на священную борьбу с чужеземцами, сломит врагов.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Валерий ГАНИЧЕВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Георгий БЕРДНИКОВ, Юрий БОНДАРЕВ, Семен БОРЗУНОВ (заместитель главного редактора), Олесь ГОНЧАР, Даниил ГРАНИН, Геннадий ГУСЕВ, Сергей ЗАЛЫГИН, Феликс КУЗНЕЦОВ, Леонид ЛЕОНОВ, Василий НОВИКОВ, Евгений НОСОВ, Александр ОВЧАРЕНКО, Петр ПРОСКУРИН, Валентин РАСПУТИН, Александр РЖЕШЕВСКИЙ (ответственный секретарь), Сергей САРТАКОВ, Андрей САХАРОВ

1 р. 05 н.

MS 24

70782